



Иван Зорин

ДОМ

роман

Иван Зорин

Дом. Роман

«Издательские решения»

Зорин И.

Дом. Роман / И. Зорин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-904939-1

Центральный конфликт «Дома» — это столкновение с внешним миром, который, нависая тенью, насыляет безумие. Главный герой романа, дом, безуспешно борется с ним.

ISBN 978-5-44-904939-1

© Зорин И.
© Издательские решения

Содержание

Истории, записанные Савелием Тяхтом	6
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Дом Роман

Иван Зорин

© Иван Зорин, 2018

ISBN 978-5-4490-4939-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Истории, записанные Савелием Тяхтом

Савелий Тяхт поселился в доме так давно, что дворовый мальчишка, спихнувший его в день приезда с ледяной горки, успел умереть седым. У Савелия был разбит нос, и пока он барахтался на четвереньках, на снег капала кровь.

– Ты чей?

Мальчишка съехав с горки на ногах, протянул ему руку, помогая подняться.

– Мамин! – заплакав, оттолкнул руку Савелий Тяхт. Он медленно побрёл к подъезду, на всю жизнь запомнив, как его встретил дом. Мальчишка запустил в него снежок, и, пока не закрылась парадная, он слышал, как ему в спину кричали: – Маменькин сынок!

Открыв дверь, мать, разбиравшая вещи, ахнула. Чтобы унять кровь, она умыла Савелия холодной водой, приговаривая, что до свадьбы заживёт. Савелий всхлипывал, глядя как пузыриться в раковине красноватая вода, но боли не чувствовал. Ему было обидно, и он не понимал, почему не дал сдачи. Снимая с него разодранные штаны, мать цокала языком, а потом подвела к окну.

– Кто?

Савелий вытянул палец.

Мать, не одеваясь, выскочила во двор, и Савелий, прячась за занавеску, видел, как она таскала мальчишку за волосы, которые в гробу побелеют, как снег.

Дом стоял развёрнутой в прямой угол книгой, из одного его крыла были видны окна другого. По вертикали – восемь этажей с лифтами, по горизонтали – восемь подъездов, на пересечении – лестничные клетки с квадратными окнами. Квартиры, двери под номерами – какими судьбами заполнялся этот кроссворд? Дом огромный, жильцов было как семечек в арбузе, к тому же они постоянно менялись, но Савелий Тяхт всех знал в лицо. После смерти матери на него напала странная болезнь, которая не отпускала его от дома дальше двора. Точно чья-то рука очертила невидимый круг, за которым Савелия Тяхта сковывал животный страх. В голове у него вспыхивала лампочка, он покрывался холодным потом и возвращался домой под завывавшую внутри сирену. Круг стягивал его жизненное пространство железным обручем, вынуждая обитать внутри, словно зверя – в вольере. «Мира боишься, – вынес ему приговор врач, живший этажом выше, с которым они выпили две бутылки вина и выкурили две трубки – сначала у него, потом у Савелия Тяхта. – Так и проживёшь возле дома козой на привязи». Чтобы извлечь хоть какую-то пользу из своего положения, Савелий Тяхт устроился управдомом. Днём он был постоянно на виду, выслушивал жалобы жильцов, бегал по их заявкам, приглашая слесарей и электриков, устранявших в их квартирах мелкие аварии, и это не давало ему с головой уйти в болезнь, а ночью вёл домовые книги, куда записывал коммунальные истории. В каждой из них, так или иначе, присутствовал дом, будто Тяхт заполнял его крестословицу, и ему казалось, что болезнь отступит вместе с последним, правильно подставленным словом, и тогда её можно будет выбросить, как разгаданный кроссворд.

Дементий Рябохлыст из третьего подъезда был начальником. Он носил костюмы строгих тонов и узкий галстук, болтавшийся на шее удавкой, который то и дело поправлял. Дементий Рябохлыст слыл на работе грозой, в его присутствии вытягивались в струнку, крепче сжимая подмышками квартальные отчёты, а от его окриков их роняли. Он был всегда на взводе, от постоянного беспокойства отводил душу на подчинённых, отчитывая их за дело и без, а, входя в свой подъезд, нервно шарил выключатель, опасаясь в темноте наступить на мышь. Один раз это всё-таки случилось, мышь пискнула, а от крика Дементия Рябохлыста лопнула лампочка. С тех пор он стал осторожнее, и, чтобы не переполошить весь подъезд, громко хлопал дверью, от чего по углам шмыгали не только мыши, но и жильцы. Он всего себя отда-

вал работе, возвращаясь домой поздно, вешал костюм в нафталиновый шкаф, ставил туда же ботинки, и, не надев тапочек, ложился в постель к жене. И тут превращался в ребёнка.

– Нехорошие дяди чуть не задавили меня сегодня на своих «бибиках»! – обиженно сюсюкал он, упираясь в её большую тёплую грудь.

– Я знаю, ты правильно переходил дорогу, – гладила она ему голову, выслушивая также жалобы про несносных сослуживцев, а когда он заканчивал, говорила одно и то же: – Бедняжка, иди скорей к своей мамочке!

И Дементий Рябохлыст залезал на жену, как на ледяную горку. Он был грузный, быстро уставал и соскальзывал набок животом. Откинувшись, он часто дышал, задирая голову, пока жена подсовывала подушку. Поцеловав мужа в лоб, она заботливо укрывала его одеялом, ждала, пока он заснёт с блаженной улыбкой, как младенец, прижимаясь к ней. Тогда, запахнув халат, шла на кухню и, закулив, прислонялась через распластанную ладонь к холодному стеклу, долго рассматривая темневшие окна.

Днём дом пустел, выплёвывая жильцов, точно семечки, а к вечеру они, как перелётные птицы, возвращались. Иногда его покидали на годы, иногда – насовсем. Тогда в квартиру въезжали новые жильцы, они отмечались у управдома, куда заносились их данные, и, таким образом, находили себе место в домовых книгах.

У Матвея Кожакаря из второго подъезда была чудовищная память. Он мог сказать: «Надо же, девять вечера, а светло, как днём! – и, почесав затылок, добавить: – Тринадцатого мая в семь утра. Только тогда шёл дождь». В детстве Матвея Кожакаря удивляло, что ему не рассказывают, как всё устроено и почему все умрут. Он ждал ответа в детском саду, который располагался в доме на первом этаже, смотрел ясными, не мигавшими глазами на воспитательницу, отложив в сторону совок и сидя на бордюре песочницы, потом – в школе, сложив руки на парте. «Граничные условия для всех одинаковы, – вздохнул старый учитель математики, с которым он решил в старших классах завести об этом разговор. – Это рождение и смерть. – Учитель дважды ткнул мелом в грифельную доску. – А в промежутке делай, что хочешь. – Он соединил две точки несколькими кривыми – У каждого своя жизнь, свой путь». Учитель отложил мел, и стал вытирать тряпкой руки, точно стряхивал прах прошедшей жизни. «Если жизнь – это путь, то какое уравнение его описывает?» – подумал Матвей Кожакарь. Спросить он постеснялся, решив дойти своим умом, и, надеясь открыть это уравнение, стал математиком. Но всё, на что его хватило, это пересчитывать выпадавшие зубы и однажды удивиться: «Пятьдесят семь лет, восемь месяцев и девять дней – как долго я умираю!»

Во времена его детства отопление было печным, в четвёртом подъезде, у которого по утрам, взвизгнув, застывал самосвал с углём, помещалась котельная, от земли до крыши по стене шла каменная труба, из которой валил дым, казавшийся весной особенно чёрным на фоне голубого неба. Водитель жал на клаксон до тех пор, пока из котельной не появлялись чумазные пьяницы-истопники; разгружая уголь, они матерились, будто пели, а после опять скрывались в своей маленькой преисподней, откуда к вечеру выползали на четвереньках. Глядя на них, Матвей Кожакарь опять думал, почему всё устроено так, а не иначе, гадал, знали ли они, что их ждёт, когда были такими же маленькими, как он, и могли ли в своей жизни что-нибудь изменить. В те времена дом ещё жил по расписанию – пробуждался на заре, с заходом солнца засыпал, а в полдень закрывался на обед. Но прошло всего ничего, и Матвей Кожакарь встретил юность, вместе с которой на крыше дома расцвели телевизионные антенны, сбившие весь режим, появилось центральное отопление, переселившее истопников из котельной в «пьяный» магазин на углу, куда они пошли грузчиками. По прошествии многих лет Матвей Кожакарь вспоминал их почерневшие от копоти лица и, глядя на бесполезную трубу, думал, что, уснув мальчишкой, проснулся стариком. И всё же, вычислив свои годы, он удивился лишь напоказ. К этому возрасту он уже знал, что времени не существует, что оно придумано только для того, чтобы отмечать даты на могильных камнях, сравнивать непохожие судьбы и упорядочивать

события, которые, на самом деле, мелькают, как мошара над лампой. «Граничные условия, – думал он. – Граничные условия». Но в глубине уже не верил, что выведет уравнение жизни, и жил как все, – по привычке. На похоронах учителя математики, лежавшего в гробу с перепачканным мелом носом, который он, казалось, вот-вот смахнёт, Матвей Кожакарь подумал, что все учат жизни, но, рано или поздно, жизнь сама научает каждого. За свои годы он всё же повидал мир – гружённый тяжёлым багажом, совершил утомительное путешествие, поменяв квартиру из второго подъезда в пятый. А третий подъезд, как от горна, трубившего зорю, просыпался по утрам от криков.

– И-го-го, лошадка! Ис-чо! Ис-чо!

– А не хочешь а-та-та?

Рябохлысты занимались любовью. С материнской нежностью Изольда варила потом кофе, готовя завтрак из двух яиц с поджаренным хлебом. А когда муж уезжал на работу, едва успевала обрызгать себя жасминовыми духами, как из соседней квартиры приходил Викентий Хлебокляч. Сухой, жилистый, с крепкими руками и змеиной головкой на вертлявой шее, он громко, заразительно смеялся, прежде чем опрокидывал её на супружеское ложе со смятыми простынями. И жена Рябохлыста из матери превращалась в послушную дочь. Как и муж, она не выносила одиночества, стоило ему переступить порог, и страшная, неизбывная тоска наваливалась на неё, как медведь. Чтобы не оставаться наедине с собой, муж бежал на работу, в непрерывной текучке топил подступавшую тоску, как пьяница в вине, а она с той же целью завела любовника, которого содержала на мужнины деньги. И к своей связи относилась, как к работе. Поэтому, когда однажды муж вернулся раньше обычного, она не опустилась до выяснений, которые опоздали на десять лет, прошедших после свадьбы, а, молча собрав чемодан, переехала в соседнюю квартиру. Муж, не снимая узкого галстука, который лишь ту же завязал нервным движением, провожал её телячьими глазами, как ребёнка, растерянно глядящий на мать, которую опускают в могилу.

Дом, как утёс, рассекал волны набегавших поколений. Во дворе ютились лавочки, земля под которыми была усеяна жёлтыми папиросными окурками, по углам высились засиженные голубятни, а в центре стоял грубо струганный стол, за которым, сажая занозы, стучали домино. Мальчишку, который в день приезда спихнул Савелия Тяхта с горы, через несколько лет прозвали за этим столом Академиком. Едва поднимали в ладонях чёрные костяшки, он без игры подсчитывал очки, точно видел их насквозь. Тогда он уже начал сесть, много пил, ограничивая свои таланты домино, а достижения – тремя чумазыми детьми, со свистом гонявшими голубей. Раз он всё же ошибся, оставшись в «козлах», и под руку ему попала старшая дочь. Срывая злость, он накричал на неё, и с тех пор ей точно язык отрезали. Академик со слезами просил прощения, при всех вставал перед дочерью на колени, но она замкнулась, точно онемела, храня на лице то испуганное, непонимающее выражение, которое вызвала его брань. Она росла тихой, летом и зимой носила ситцевый платок, который истёрся от того, что, угощая её конфетами, жильцы, не удержавшись, гладили по голове. Молчала она всегда к месту, и её прозвали Молчаливой.

Мимо стола с доминошниками, шлёпая по грязи, раз проходил Матвей Кожакарь, и, не удержавшись, остановился, чтобы сосчитать очки, бывшие у игроков на руках. Играли парами, и один всё время ругал партнера. «Давайте играть по-человечески! – взорвался он после очередного проигрыша. – Каждый за себя!» Обстукивая с ботинок глинистые комья, Матвей Кожакарь поднялся по лестнице, повернул в двери ключ и, не снимая грязной обуви, бросился на кровать. Уткнувшись в подушку, он долго размышлял о том переменном в своём уравнении, которое бы объясняло, почему, чтобы жить по-человечески, надо каждому играть за себя.

В этот же год случилось землетрясение. У Савелия Тяхта была ещё жива мать, и он не работал управдомом. В тот вечер он впервые попробовал с друзьями креплёного вина и,

чтобы себя не выдать (боясь больше расстроить мать, чем получить от неё нагоняй), прокрался на цыпочках в комнату, быстро разделся и лёг в постель. Он уже отвернулся к стене, когда цветы на висевшем ковре стали собираться в букеты. Савелий Тяхт зажмурился, а, когда в серванте задрожала посуда, решил, что перебрал. На улице, куда они выскочили с матерью, собрался весь дом. Первыми выбежала семья Кац, успевшая прихватить толстые сумки, набитые вещами, точно всегда собирались в дорогу. Удары оказались слабыми и больше не повторялись.

– Что случилось? – высунулась из окна сонная старуха, про которую все забыли.

– Ничего! – крикнул Тяхт, радуясь, что его «муха» пролетела незамеченной.

Последними в дом вернулись Кац, со смехом признавшие, что после землетрясения сумки заметно потяжелели.

– Когда затрясло, могли отнести их на крышу, а теперь с трудом затаскиваем в лифт, – боком протискивались они в кабину.

– Своя ноша не тянет, – улыбнулись им, и на радостях, что всё обошлось, помогли донести сумки до двери.

Ущерб от катаклизма не было, и всё же в доме затеяли ремонт. Снесли дощатый забор с лазейками, переставили лавочки к парадным, уничтожили голубятни, так что в воздухе ещё долго было темно от носившихся сизарей и почтарей. На их месте построили жестяные, гулко гудевшие при ударе, гаражи, а дом перекрасили в жёлтый цвет. На общем собрании в этом всех убедили Кац, устроив по знакомству дешёвую краску. Говорили, они сильно нажились, купив автомобиль такого же канареечного цвета.

– Жулики-бандиты! – шипели им вслед старухи на лавочках.

– У старых коров длинные языки! – хмыкали они, не поворачивая головы.

Выйдя на пенсию, Матвей Кожакарь продолжал заниматься математикой. Сидя у окна, считал галок, бегущие по небу облака, старух на лавочках, детей, запускавших во дворе бумажного змея, заноса их переменными великого уравнения жизни. А сам, поворачивая время вспять, жил воспоминаниями. Поклоняясь прошлому, проступавшему у него всё ярче, он сделал кумирню из школы, которую давно покинул. По вечерам, когда занятия в ней заканчивались, долго стоял перед дверью, откуда выбегал когда-то на выщербленные ступеньки, вспоминая ушедшее, молился, чтобы оно никогда не вернулось, оставаясь идеально чистым, не запятнанным, каким может быть только в памяти. Положив на алтарь прошлого свои несбывшиеся надежды, мальчишеский смех и неутолённое любопытство, Матвей Кожакарь сотворил кумира из воспоминаний. Перед школьной дверью его вновь охватывало чувство, что мир загадочен и таинственен, а не прост, как те семь копеек, которые изо дня в день заставляла его пересчитывать жизнь. Это чувство стало для Матвея Кожакаря священным. В его религии было своё преображение – когда ранней весной, полный грозного самоощущения, он взглянул на женщин не детскими глазами, была и благая весть – когда после школьной аттестации его поздравили с отличной успеваемостью и без экзаменов приняли в университет, были и свои святые – его ничем не примечательные учителя, которых время, отретушировав, делало легендарными. Альма-матер, рождавшая от непорочного зачатия, от святого духа знаний, стала матерью его бога. Дом и школа – так и шли, как в детстве, его дни, слагавшие теперь старость, тихо падавшие в её копилку, не достигая дна.

Однажды из резко затормозившей машины к Матвею Кожакарю вышел одноклассник, они обнялись, вспомнив живых и мёртвых, всплакнули, но темы быстро исчерпались. Расставаясь, обменялись телефонами, но оба знали, что не позвонят. Вернувшись в тот день к своим записям, Матвей Кожакарь долго сидел, уставившись в стену, сосредоточенно размышляя об уравнении, которому подчиняется их встреча, как и вся остальная жизнь, а потом, не раздеваясь, упал на постель. Посреди ночи он внезапно проснулся, точно его осенила какая-то мысль, точно он был в шаге от своего великого уравнения. Вскочив, Матвей Кожакарь бросился

к столу, чтобы записать формулу, хотел схватить ручку, но вместо этого схватился за сердце. «Уравнение жизни – это смерть, – мелькнуло у него. – Смерть, которая всех уравнивает». Матвей Кожакарь лежал на спине, раскинув руки с торчавшими из пиджака кистями, и лицо его выражало испуганное недоумение ребёнка, не понимающего, за что его ругают: он умер от разрыва сердца, так и не коснувшись постели.

Отвечая на приветствия, Кожакарь едва кивал, так что соседи давно перестали с ним здороваться, родственников у него не было, и похороны устроили за казённый счёт. Гроб, однако, сколотили на средства жильцов, которые скинулись усилиями Тяхта, пустившего по квартирам шапку. Разогнав доминошников, гроб с телом поставили на струганный стол, ритуальный автобус с чёрной полосой опаздывал, и жильцы, проходя мимо, задерживались, снимая шляпы. Переглянувшись с соседями, они брали со стола пустые стаканы, подходили к Тяхту, разливавшему водку, молча их протягивали, чтобы, не чокаясь, выпить «на посошок», с Матвеем Кожакарем, которому предстоял, долгий путь.

Так его узнал весь дом.

Так с ним познакомились.

И так попрощались.

Ираклий Голубень, невысокий, кряжистый мужчина с подвижным лицом и манерами холерика, живший в первом подъезде вместе с Савелием Тяхтом, работал в редакции. Он был там мелким служащим, вечно на побегушках, а его статьями заполняли последние полосы, когда подводил какой-нибудь автор. Однако Ираклий Голубень считал себя великим писателем, обладающим даром слова, и внесшим огромный вклад в литературу. Потому что не написал ни одной книги.

– Рядовой писатель – это графоман, – говорил Ираклий Голубень, опуская усы в пиво. – Он наслаждается, переписывая словарь, в котором изменяет порядок слов. А чем плох алфавитный? – Прихлебнув из кружки, он доставал из неё мокрые усы, и добавлял, трясая головой: – Переводить звуки в буквы – чистая графомания!

У него капало с усов, вытирая их пятернёй, он запускал её после в густую шевелюру, которую использовал вместо салфетки, и весь его вид говорил, что он не потерпит возражений. Трезвым Ираклий Голубень был застенчивым и предупредительным. Но трезвым бывал редко. А пьяным становился несносен.

– Что вы сделали для литературы? – хватал он за рукава проходивших мимо жильцов. – Отвечайте!

Савелий Тяхт, когда-то писавший стихи в школьную газету, встречая его пьяным, не давал ему раскрыть рта:

– Мои заслуги перед литературой огромны – я избавил её от графомана!

И тыкал себя в грудь пальцем.

– Люблю! – лез обниматься Ираклий Голубень. – Я сам такой!

А на другой день ему делалось стыдно, и он с неделю не показывался, выходя, как кошка, лишь по ночам. Шляясь, как лунатик, по двору, он в одиночестве выкуривал на лавочке трубку, а если накрапывал дождь, и она гасла, ему приходилось, раскуривать её снова, чиркая спичкой, выхватывавшей из темноты его подвижное лицо. Возвращаясь под утро, он досыпал в кресле перед зеркалом, а вечером в том же кресле тянул из бутылки пиво, время от времени чокаясь со стеклом:

– Кто пьёт – ещё ребёнок, кто не пьёт – уже старик!

Ираклий Голубень был дважды женат, прежде чем стал убеждённым холостяком. Первая жена была его ровесницей. Она больше помалкивала, держа мысли при себе, как косметичку, с которой не расставалась даже в душе, и, несмотря на все старания мужа, разговорить её было труднее, чем покойника. «У женщин, как у собак, свой возраст, – думал Ираклий Голубень, глядя, как быстро она увядает. – Они стареют раньше мужчин, зато живут дольше».

Супруги вместе перебирали дни, как замусоленную колоду, но Ираклий, в отличие от жены, ещё держался и однажды задал ей роковой вопрос: «А что ты сделала для литературы?» Жена не ответила, и Ираклий подал на развод, уверенный, что в суде её молчание сочтут для него достаточным основанием. После этого Ираклий Голубень взял в жёны студентку, проходившую в редакции практику. Судьба избавила его от повторения. Новая жена оказалась зубастой, болтала, всё, что взбрело в голову, не обращая внимания на угрожающее молчание мужа. Ираклий Голубень теперь понял свою бывшую жену, в роли которой оказался. Но роль ему явно не шла. Молодая сутками не вылезала из постели, которую превращала в площадку для споров.

– Если бы я была твоим мужем, то зарабатывала бы больше тебя.

– Что же тебе мешает? – парировал Ираклий. – Смени пол.

– Сначала ты. А я погляжу потом, стоит ли делать тебе предложение.

Ираклий покосился.

– А может, тебе стоит для начала стать своим мужем?

– Ну, двух мужей я не потащу. Придётся с одним расстаться. Угадай, с каким.

Ираклий промолчал. Потому что постель ещё списывала всё. Но время работает против любви, и с окончанием медового месяца всё изменилось.

– Мы эгоисты, – разглядывала его молодая, точно увидела в первый раз. – Вот ты сейчас задумываешься о том, кто рядом с тобой?

– А ты? – возвращал ей вопрос Ираклий. – Ты думаешь о том, кто рядом с тобой?

– Нет, – эхом откликалась она, – я думаю о том, кто рядом с тобой.

Последнее слово опять осталось за ней. Но постель уже не топила всё, и стрелы остроты, из любовных превратившись в смертоносные, пронзали сердце вместо того, чтобы его только ранить.

– Ты всё, что у меня есть, – как-то вырвалось у Ираклия в приливе нежных чувств.

– Да, я всё, что у тебя есть, – без тени улыбки согласилась она. «И всё, что есть у себя», – прочитал на её лице. Ираклий. Он оценил её прямогу, отметив, что её мысли острее, и решил заслониться от них молчанием. Он молчал с месяц. Выдерживая характер, молодая не спрашивала его ни о чём. В тишине пролетали мухи, взвизгивала «молния», когда застёгивали куртку, или хлопала дверь. В тишине скрипело перо Ираклия, бывшего над очередной статьёй, и глухо скребла пилка, когда молодая, отставляя растопыренные пальцы, делала маникюр. Наконец, Ираклию всё надоело.

– А ты, однако, болтлива, – лёжа в постели, выстрелил он в упор. – Даже больше, чем я.

– И это задевает твое самолюбие? Извини, я – женщина.

– Моя бывшая была другой.

– Значит, она была не женщина.

– По-твоему, я «голубой»? – Ираклий Голубень недобро рассмеялся. – А что ты сделала для литературы?

Молодая сразу всё поняла.

– Уж точно больше, чем литература для меня, – вскочила она с постели. В коридоре она влезла в туфли на босу ногу, и хлопнула дверью. Ираклий Голубень не стал её догонять. Он откупорил банку пива и, усевшись около зеркала, поставил её на подзеркальник. «Старый муж делает моложе, а молодая жена старит», – улыбнулся он в зеркале. А потом погрузил усы в пиво и, пустив свои мысли в привычное русло, стал размышлять, как много сделал для литературы.

Дом большой, за всеми не уследишь. Однако в соседней квартире жил управдом, оставивший в домовоей книге запись о случившемся в ней тогда же.

«Холодильник пустой! – недовольно переминалась мать Савелия Тяхта, войдя в его комнату, когда он нежился в постели. – И хлеба нет!» Выскочив за дверь в одних трусах, куда сунул деньги, Савелий Тяхт, ещё гремя ключами от квартиры, столкнулся в лифте с молодой обна-

жённой женщиной, показавшейся ему сошедшей с небес. От растерянности он на мгновение проглотил язык, а потом невпопад пробормотал:

– Вас что, не учили здороваться?

– Ну, здравствуйте. – Она смерила его презрительным взглядом. – С каждым здороваться – здоровья не хватит.

Туфли на высоком каблуке делали её одного роста с Тяхтом, и она вызывающе смотрела ему в глаза. А пока он боролся с подступившим к горлу комом, выскочила из лифта. Так Савелий Тяхт влюбился. Её звали Саша Чиринá, и она была женой Ираклия Голубень, от которого только что ушла. Ушла, в чём мать родила. Завернувшись в одну женскую гордость.

Со стороны двора крылья дома гипотенузой отсекал канал с горбатым мостиком, который охраняли глядевшие в воду каменные львы. По набережной гуляли в любую погоду, даже на промозглом ветру, который щекотал ноздри, гоняя жёлтые листья и стеля мокрый снег. Голодный день кидался на приманку другого и вис, как сушёная рыба, – так шли годы, крутя заезженную пластинку, на которой лето сменялось осенью, и никогда наоборот. Дом жил своей жизнью, и в его квартирах всё шло своим чередом. На место Матвея Кожакаря вселился новый жилец. А Рябохлысты разошлись, и Изольда вышла за Викентия Хлебокляча. Но тоска не отступала. Оказалось, что новый муж способен не только увести чужую жену, но и ей изменить. Раз, провожая его на работу, она обвилась плющом и призналась, что не знает, чем занять без него пустоту. Но он равнодушно отстранил её. С тех пор, когда супруги проводили вместе ночь, она не делилась пополам, а была у каждого своя, и, засыпая в одной постели, они видели разные сны. Получив повышение, Викентий Хлебокляч пропадал целыми днями на службе. Там он прикарманивал всё, что плохо лежало, и так в этом поднаторел, что начал завидовать собственным успехам. Он накопил целый гардероб дорогих костюмов, к которым шёл галстук в горошек, болтавшийся верёвкой на его гибкой шее. Домой Викентий Хлебокляч возвращался за полночь, боясь в темноте запачкаться о побеленные стены, щёлкал в парадной выключателем, осторожно поднимаясь по лестнице, и всё равно его шаги слышал весь подъезд. Когда его ключ карябал дверной замок, Изольда притворялась, что уже спит. Она поняла, что ей предопределено стареть с мужем в одном зеркале, держа деньги в разных карманах, и пересчитывать их, как прожитые годы, – повернувшись спинами. От нечего делать она занялась кулинарией, всё чаще сервируя блюда репчатым луком. Но плакала при этом от тоски. А её бывший муж, Дементий Рябохлыст, сломленный разводом, потерял место и совсем опустился. Целыми днями он валялся на неубранной постели, плевал в потолок и, перебирая прошлое, думал, что завтракать в одиночестве – всё равно как мастурбировать перед зеркалом. И однажды в одних трусах заявился к бывшей жене. «Ночами никак не засыпается! – с капризной властью заявил он с порога. – Матери детей укладывают, а ты – кукушка!» Изольда резала лук с красными от слёз глазами, которые то и дело вытирала краешком фартука, отводя в сторону зажатый в кулаке овощной нож. Она заглянула в его телячьи глаза и пошла за ним, не снимая фартука, с ножом, пахнувшим луком. И всё вернулось на круги своя. Заведя любовника, Изольда успокоилась, её тоска отступила, не щема больше сердца. Теперь она содержала бывшего мужа на деньги нового, а, когда родила, сама не знала, от кого. У ребёнка были телячьи глаза и змеиная головка на тонкой шее.

В детстве, когда мать уезжала в отпуск к родне, Савелий Тяхт задерживался в школе, готовя уроки. Однажды за дверью он наткнулся на мужчину, считавшего голубей на заборе.

– Учишься математике? – спросил тот.

Савелий Тяхт кивнул.

– А слышал про уравнение?

Савелий Тяхт криво усмехнулся. «Уравнение!» – кричали мальчишки, подведя его к стоявшей в углу метровой линейке из фанеры, и, оттянув её, били по лбу. Он терпеливо сносил

издевательства. «Не дерись! – учила мать, когда он жаловался. – Один твой синяк не стоит их ничтожной жизни!» Савелий Тяхт рассказывал ей про оскорбления, а про пинки и подзатыльники – не решался, стыдясь собственной трусости.

– Ну, ничего, ещё услышишь, – по-своему понял его усмешку мужчина.

Било солнце, прикрывшись ладонью, Савелий Тяхт поднял глаза, чтобы лучше разглядеть незнакомца. Не издевался ли он? Но увидев на его лице добродушную улыбку, Савелий успокоился. А Матвей Кожакарь, глядя ребёнка по голове, подумал, что общее для всех уравнение – это детство. С тех пор Савелий Тяхт, выглядывая из окна, часто замечал этого мужчину сидящим во дворе на лавочке. Глядя на восьмизэтажный, восьмиподъездный дом, Матвей Кожакарь представлял шестьдесят четыре клетки чёрно-белой доски, на которой вслепую играл в шахматы с самим собой.

А может, искал глазами ребёнка, который помахал бы ему из окна?

И этим ребёнком был Савелий Тяхт?

В детстве Савелий не участвовал в дворовых разборках, болезненно тщедушный, не выходил, когда вторгались чужаки, являвшиеся из-за канала, он, слегка отодвинув занавеску, смотрел из окна, как утопая в грязи с закатанными до колен штанами, дрались стенка на стенку (по неписаным законам – до первой крови), как с разодранными рубашками бросались в рассыпную, услышав полицейские свистки. В этих схватках отличался Академик, в день приезда столкнувший его с горки, а Савелий с тех пор остался чужим среди своих, белой вороной, которую не клюнет только ленивый, и до конца жизни, слыша за спиной «В семье не без уроды!», инстинктивно опускал плечи, принимая это на свой счёт. «Ох, не любим друг друга... – покачал он раз головой, видя, как пьяные во дворе, неловко прыгая, размахивали кулаками. Один уже лежал в лужице крови, а другой ещё пытался ударить его ногой. – Ох, не любим!» Это случилось, когда он, уже работая управдомом, проверял электрический счётчик у недавно заселившегося полнокровного хохла, который с широкой, детской улыбкой рассказывал о деревне, что «хата в ней – не квартира в доме», а «дивчины – не ваши бледные поганки: кровь с молоком». Перехватив взгляд Савелия Тяхта, хохол тоже заметил драку, он вдруг затих с отвисшей губой, а через мгновение переменялся в лице и, как был, в тапочках на босу ногу, выскочил за дверь, которая безжизненно повисла на петлях. И уже через минуту Тяхт увидел его в гуще дравшихся, угощавшим направо-налево, без разбора кто прав, кто виноват, а ещё через пять, он, запыхавшийся, снова стоял перед управдомом, почёсывая затылок:

– С детства не могу удержаться, так о чём, бишь, я там?

Сев на табурет, хохол закинул ногу на ногу, и Савелий Тяхт опять слушал его мягкий тягучий выговор, поведавший ему про петухов на заре, «таких горластых, почище любого будильника», про «пышнотелых, грудастых девок, добрых-добрых, не то, что ваши гримзы», которые «и приголубят, и накормят, и спать с собой положат».

– Выпить не хочешь? – прервался вдруг хохол. – У меня самогон – чистый, как слеза.

– Я на службе, – промямлил Тяхт, выписывая квитанцию.

– А я выпью, – доставая из буфета бутылку, плеснул в стакан хохол. – Ну, твоё здоровье! Будем живы, не умрём! – Хохол крикнул, и, прежде чем проводить Тяхта до двери, налил второй стакан: – Придётся за тебя отдуваться.

«От двух стаканов ты уж точно не умрёшь, – подумал на лестнице Тяхт. – И даёт же господь здоровье».

А вечером того же дня, когда во дворе на верёвке, подпёртой качавшимся шестом, трепались белые простыни, под которыми вороны, испуганно отлетающие на забор при каждом порыве ветра, клевали дохлую кошку, Савелий Тяхт увидел хохла за столом с пьяными драчунами: разливая самогон, тот горячо доказывал преимущества сельской жизни, чокаясь, так что капли перелетали в чужой стакан, обнимался, прижимаясь щекой к синевшим под пластырем ушибам. И Савелий Тяхт со вздохом подумал, что каждому – своё, а его «своего» нет нигде.

Зато у него оставались целыми зубы. А вот Академик свои рано потерял в уличных баталиях. Они были к тому же от природы плохие, и он вставил искусственные, ослепительно белые, которыми очень гордился, улыбаясь по поводу и без. На ночь он вынимал вставную челюсть, опуская в стакан с содой, чтобы не испортился цвет. Однажды, возвращаясь зимой с пьянки, он принял сугроб под уличным фонарём за кровать, и во сне зубы у него застучали от холода так сильно, что челюсть выпала в снег. Проснувшись, он обшарил весь сугроб и, тщетно проискав свои зубы, впервые пожалел об их белизне. На другой день он заставил искать их своих детей, а, когда и эта попытка не увенчалась успехом, напился больше обычного.

У каждого своя судьба. Её не выбирают. Однако пытаются изменить.

Одни в доме следовали Библии, другие – Корану. Для Давида Стельбы из второго подъезда такой книгой стал отрывной календарь. Ему уже была седина в бороду, а он думал больше, чем делал, и ходил за собой, как тень. Долгими, зимними вечерами Давид Стельба изучал философию и сравнивал религии, пока однажды за деревьями не разглядел леса.

– Всё одно, и всё одним заканчивается, – произнёс он вслух открывшуюся ему истину. – Если за гробом что-то и суждено, то христианину вполне может быть уготована нирвана, а буддисту – Царствие Небесное. Главное – не чему поклоняться, а как.

Каждый молится своему богу, и если для Матвея Кожакаря им стала давно оконченная школа, то Давид Стельба взял в путеводители численник. Он предпочитал карманное издание, которое помещалось синицей в руке, обещающая журавля в небе. На передней стороне каждого листка значилась дата, фаза луны и заход солнца, а на обратной – указания на день. На самом деле календарь содержал разную смесь – от поваренных рецептов до исторических памятков, – так что его толкование давалось с трудом. Но со временем Давид Стельба поднаторел в этом не хуже цыганки, в детстве гадавшей ему по руке. Из дня в день он слепо подчинялся наставлениям, смысл которых оставался для других туманным. Он держал численник в отхожем месте и заглядывал в него по утрам, справляя нужду. «Будущее всё равно обманет, лучше узнавать о нём между делом, – ворчал он, мысленно составляя дневной распорядок. И в нём усердствовал. Если читал о беге трусцой – носился, как угорелый, если речь шла о достоинствах вин – напивался. Давид Стельба никогда не забегал вперёд, не позволяя себе листать численник, поэтому каждый день готовил ему сюрприз. Он жил, что называется «с листа»: то целый вечер бился над пасьянсом или чинил по инструкции испорченный глобус, то спал сутками напролёт. Через год, когда численник заканчивался, Давид Стельба покупал следующий, первый попавшийся. Некоторые страницы содержали советы женщинам. И тогда Давид красил губы и пудрил. Его секта насчитывала одного человека, но Давид не смущался. «Нет разницы, что исповедовать: главное – искренне, – твердил он с упрямством попугая. – Людей, как и псов, можно натаскивать даже на чучелах».

Постепенно численник стал его молитвой, его десятью заповедями, его богом. Сверяясь с руководством, он неделями постился, а в полнолуние разговлялся, соразмеряя аппетиты с луной, – они вместе росли и вместе были на ущербе. Так он и жил в скорлупе сегодня, не загадывая будущего, не пытаясь разглядеть его узоры в кофейной гуще, и ему казалось, что он не отличается от окружающих, а стало быть, счастлив.

Каждый живёт как может.

И в каждом доме – по кому.

Авессалом Люсый из того же второго подъезда был молод и ершист. По дому он расхаживал руки в брюки, а школе, той же самой, которую заканчивал когда-то Матвей Кожакарь, слыл бунтарем. Учился он плохо, часто прогуливая уроки, отправлялся на канал, где пил в компании случайных бродяг. По этой причине в семье его считали паршивой овцой. «Мать от слова „жрать“, отец от слова „триндец“», – огрызался он, отпустив назло родителям длинные волосы, которые редко расчёсывал, и ещё реже мыл. Но одними волосами от близких не отделаешься, и однажды Авессалом ушёл из дома. Давид Стельба подобрал его на улице, когда он вместе

с кошками мок под дождём в подворотне. Первое время они ладили, случалось даже вместе гуляли или смотрели телевизор, каждый, правда, свою передачу, но потом Давида Стельбу стала раздражать его расчётливость. Казалось, они поменялись возрастом, и Авессалом был в два раза его старше. «Такое поколение, – вздыхал он про себя. – Такое поколение».

Но Авессалом читал его мысли.

– Это мы такое поколение? – скалился он. – Это вы всё проели, промотали, профукали, а нам теперь расхлёбывать! Думали, хуже вашего времени и быть не может, а вышло – ещё как!

– Откуда ты знаешь? – вскидывал руки Давид.

В глубине он уже сдался и теперь зывал к милосердию.

– Знаю, – добивали его, – все вы маменькины сынки!

И Давид Стельба нёс в ванную свою отрубленную голову. Опустив щеколду, он снова пересчитывал численник под капель умывальника, но извлечь совета не мог. Проходил час, другой.

– Ладно, не сердись, – раздавалось, наконец, за дверью. – Мне твоя жизнь, в сущности, по барабану.

Давид Стельба с сиявшим лицом открывал дверь и, будто ничего не случилось, предлагал Авессалому вместе поужинать. Жизнь, как поезд в замедленной съёмке, может очень долго катиться под откос. Но однажды – Луна была в Рыбах, а ночь пришла вперёд звёзд, которые были пока бесконечно далеки от своих отражений в воде, – всё так просто не кончилось.

– В наших отношениях я чувствую себя приговорённым, – выйдя из ванной, сказал Давид, – Будто меня на рассвете должны повесить, а ты предлагаешь мне безропотно принять смерть. Конечно, ночь длинна, можно подвести черту: больше не лгать, не страшиться, не плакать, не надеяться...

– И обязательно справь нужду, – вставил Авессалом, беззлобный, как крапива, – а то на верёвке обгадишься и сдохнешь под собственную вонь.

С тех пор они не разговаривали, оставляя на кухне записки.

«Ох, до чё ж ты нервный, дядя, – с утра рубил Давида Стельбу размашистый почерк, – чисто муха на стекле!»

«За тебя переживаю», – защищался он под вечер. Но его приканчивали грамматикой: «Ой тока не нада этова другим задвигай эту фишку а мне лутше бабки оставь!»

И Давид Стельба чувствовал свою вину. Авессалом был его сыном, который после развода взял фамилию матери.

Звёздными ночами Савелий Тяхт припадал к окну и, закатывая к небу глаза, мечтал о Саше Чиринá, ужасаясь, что больше её не увидит. Прокручивая в голове их встречу, он тысячи раз проклинал себя за нелепое поведение, мысленно дарил цветы и читал прекрасные стихи, а, когда она пришла к Ираклию Голубень за вещами, подкараулил у лифта и неожиданно для себя сделал предложение. «Что ж, можно сэкономить на машине», – рассмеялась Саша Чиринá, кивнув на вещи, которые Савелий Тяхт уже с поспешностью заносил к себе. Они заняли всю его маленькую комнату так что, выходя из неё, приходилось продираться меж расставленных сумок, как на вокзале. Но Савелию, летавшему от счастья, было на это наплевать.

Жили уже неделю, и невеста пришлась ко двору. Но – наполовину. Чем дальше, тем Савелию Тяхту она нравилась больше, а его матери – меньше.

– Она же не умеет готовить. И стирать. Она тебе не пара.

– Хочешь сказать, не ровня? – поправил Савелий, на которого давно взвалили хозяйство, так что он звал себя «подтирушкой». И подумал, что готов вести хозяйство и дальше, вкалывая за двоих, лишь бы не одному отглаживать под матрасом «стрелки» у брюк.

– И что? – отмахнулась Саша Чиринá, когда ночью они занимались любовью, а в промежутке Савелий рассказал про мать. – Я же сплю не с ней, а с тобой.

А за семейным обедом, ковыряя вилкой жареную рыбу, рассказала:

– Я в мать-цыганку. Ей нагадали, что она будет счастлива с единственным мужчиной. Поэтому она ложилась со всеми подряд. А вставала девственницей. «С тобой ложатся, чтобы облажаться!» – шипели ей вслед, пока она не встретила моего отца». И, уставившись на мать Савелия Тяхта, спросила с притворной наивностью: – А ты, похоже, своего мужа так и не встретила?

Вспыхнув, мать отложила вилку. А вечером предъявила ультиматум.

– Ты послушный мальчик, – обняла Савелия Тяхта на прощанье Саша Чиринá. – Хочешь совет? Женись на ней!

И застучала по лестнице каблуками.

– Не можешь помочь – не давай советов! – облаял Савелий Тяхт захлопнувшуюся дверь, но в глазах у него стояли слёзы.

Дни соскальзывали из будущего в прошлое костяшками на счётах. Летом дом нещадно калило солнце, зимой его камень промерзал насквозь, а осенью мелкий, косой дождь сёк бурый кирпич, смывая облезлую жёлтую краску, и тогда лужи во дворе стояли по колено. Казалось, так будет всегда. Но вокруг дома переменились ветры, надувая, как паруса, его крылья, и он, летучим голландцем, понёсся навстречу судьбе. Вокруг судачили о политике, газеты, в которые раньше заворачивали сельдь, теперь внимательно прочитывали. Быстро собрав чемоданы, как когда-то при землетрясении, выехали за океан Кацы. В гаражах уже не распивали мутное вино, слушая, как по крыше скребут ветки, а, забыв про машины, спорили, можно ли жить по-старому. Большинству, и Савелию Тяхту в том числе, казалось, что нельзя. За ужином он, случалось, горячился, доказывая матери какую-то правду, которую сам жадно искал.

– Не порти аппетит, – обрезала она. – На ночь философствовать – сон прогонять. – А когда Савелий настаивал, добавляла: – Жизнь менять – что русло у реки. Или того хуже, этажи у дома: всё только перевернётся, а путного не выйдет.

– Но мама, – начинал, было, сын. – Чего нам бояться, мы-то с тобой внизу.

– Вот именно, и нам ни к чему огонь: крышка-то всегда останется, а сковородка подгорит.

Дом, между тем, менялся на глазах. В подвалах вместе с крысами, как злые духи, ночами появлялись бродяги, а чердаки, на которых раньше прятались дети, швыряя снежки в прохожих, облюбовали наркоманы. В квартиры врезали хитроумные замки – надо же, до чего додумались, – ворчали на лавочках старухи, – а в парадных, точно осаждённые в восьмивратной крепости, установили железные двери с домофоном. На углу, посреди дома, заплаткой, поставили магазин, освещённые витрины которого набили пластмассовыми манекенами с рекламой в руках. Поначалу жильцы специально обходили дом, чтобы на неё поглазеть, но вскоре, привыкнув, перестали обращать внимание, как раньше на газеты, из которых ребяшня сворачивала себе пилотки. Магазин приобрёл Викентий Хлебокляч. И это изменило его семейное положение. Теперь он часто бывал дома, и жене, которая нянчилась с двумя детьми, пришлось оставить старшего – Дементия Рябохлыста. Но она не смогла простить мужу эту потерю и с разрешения управдома Тяхта перебралась в седьмой подъезд, в квартиру, которую до своего отъезда за океан занимало семейство Кац.

Выпроводив Сашу Чиринá, Ираклий Голубень зажил бобылём, с головой погрузившись в работу. Он хватался за всё подряд, не гнушаясь ничем, будто хотел опровергнуть, что на свете всех денег не заработаешь. Раз ему заказали рекламную статью. Он просидел над ней полночи, отправляя черновики в мусорное ведро. Со стола на него тоскливо смотрел глянцевого журнала, редактора которого хорошо платили, но ревниво относились к срокам. Статья не вытанцовывалась, промучившись до первых петухов, Ираклий Голубень решил прогуляться, чтобы писать на свежую голову. Щёлкнув парадной дверью, он подумал, что делает всё для литературы, раз не может написать статью. Он подумал также о своих жёнах, о свежем пиве, в котором не прочь был обмакнуть усы, о том, что надо отдать деньги, которые год назад занял у Савелия Тяхта. В этот момент Ираклий Голубень подумал, казалось, обо всём на свете, но не о том,

что забыл в квартире ключи. Лето шло на убыль, ночи стояли холодные, и вскоре Ираклий Голубень, побродивший вдоль набережной и поплевавший в воду с горбатого мостика, вернулся. Наткнувшись на железную дверь в парадную, он трижды обозвал себя растяпой, стукнув по лбу, со смехом повторил: «На в лоб, болван!», и стал сосредоточенно звонить в соседние квартиры. Ему никто не открыл. Он крикнул: «Помогите!» Из окон никто не высунулся. Ираклий Голубень был трезв, и на большее не решился. Он сел на ступеньки и заплакал. День был выходным, и впустил его лишь выходявший поздним утром Савелий Тяхт. Ираклий Голубень продрог до костей. Зато продумал статью. И первым делом бросился к столу, зачеркнув крестом обложку глянцевого журнала, написал поверх:

Хоть бы была война!
Чтобы любили тебя.
Чтобы делили с тобой
Хлеб из земли одной.
Чтобы была видна
Родина из окна,
Чтобы на всех – одна.
Хоть бы была война!

О Саше Чиринá мать Савелия Тяхта больше не заикалась. Она была из тех, кто, набрав в рот воды, носит её всю жизнь. Много раз Савелий спрашивал про своего отца. Но мать отмалчивалась, или, поджав тонкие губы, цедила: «Он был тебя не достоин!» И со временем Савелий Тяхт стал думать, что его отец – Матвей Кожакарь, к которому привязался, и с которым после встречи на школьном дворе ни разу не говорил. В ту зиму небо прохудилось, сугробы уже скрыли первые этажи, а снег всё сыпал и сыпал. Врачи сбились с ног, их марлевые повязки от частого дыхания промокали, как в дождь, так что за день уходила целая коробка, а фонендоскопы, змеями обвивавшие шеи, ржавели от пота – по дому ходил грипп, которым переболели уже все, кроме матери Тяхта. «Зараза к заразе не липнет», – косились на неё, встречая прямую, как палка, фигуру. Она проплывала мимо, подняв голову, как стрелу подъёмного крана, поглядывая на всех свысока. Но к весне слегла и она. Не помогли ни банки, ни горчичники, а от таблеток её рвало желчью. И через месяц она оказалась при смерти. Отказавшись от больницы, она велела закрыть форточки, задёрнуть шторы и не включать света, оказавшись замурованной в комнате, точно в гробу, к которому готовилась.

– Будешь меня вспоминать? – взяв за руку сына, прошептала она.

– Буду, – отведав глаза, отозвался он деревянным голосом.

Кладбище с беспорядочно разбросанными могилами и покосившимися крестами, на которых чирикавших весной воробьёв сменяло осеннее вороньё, находилось за каналом, недалеко от моста с каменными львами, и, будь жильцы одной семьёй, могло бы считаться фамильным склепом. Вернувшись с похорон, Савелий Тяхт вынес во двор всю мебель, соскоблил обои и, оставшись посреди голых стен, сел на пол и стал рвать в клочья семейные фотографии, складывая костёр. Чиркнув спичкой, он вдруг задумался, рассматривая бумажную горку до тех пор, пока не обжёг пальцы, а потом долго глядел, как огонь пожирает его похищенную жизнь. Уснул он тут же, на полу, положив под голову ботинки, а на утро обнаружил, что не может отлучиться от дома дальше двора, точно мать, удерживая его невидимыми руками, продолжала и за гробом проживать его жизнь.

Первого января Давид Стельба приобрёл новый численник. Заспанный, чернявый продавец из книжной лавки, недавно открытой в подвале дома, горбясь на стуле, долго его расхваливал, выставляя достоинства перечислением недостатков, которых он не содержал. Продавец мял календарь в руках, словно от этого росла его стоимость, так что, когда назвал цену, чуть

было не упал со стула. Заворачивая покупку, он маслил Давида Стельбу глазами, а провожая, взял под локоть. На пороге, хитро подмигнув, продавец подтолкнул его, не скрывая своего удовлетворения. «Все мы заложники чужих хроник», – услышал за спиной Давид, почувствовав, что его облапошили. Обернувшись, он ещё раз окинул взглядом пыльную лавку с покосившимися от книг шкапами и продавца в чёрном сюртуке, скрестившего руки на животе. По дороге, составившей четыре подъезда, мимо которых прошёл, и три лестничных пролёта, по которым поднялся, Давид всё не мог понять, в чём его обманули, а дома не удержался. Изменив правило, открыл календарь и прочитал на первой же странице: «Одни в доме следовали Библии, другие – Корану. Для Давида Стельбы из второго подъезда такой книгой стал отрывной календарь». Давид Стельба изумлённо перевернул лист, и дальше уже не мог остановиться. Это был рассказ о его затее, повесть, в которой он действовал, как литературный персонаж. «Одни посвящают себя работе, другие – семье, третьи – самим себе, – читал он. – Перепробовав все рецепты, Давид Стельба выбрал самый абсурдный, вручив судьбу календарю. Он доверялся его подсказкам, его тёмным пророчествам, в которых был себе и жрец, и жнец, и на дуде игрец. Он в прямом смысле жил „с листа“: то целый вечер бился над пасьянсом или чинил по инструкции испорченный глобус, то спал сутками напролёт». Давид Стельба скрёб ногтём страницу за страницей, натываясь, как на иголки, на дни, подчинённые календарю, воскрешая прошлое, которое с каждой строкой приближалось к настоящему. «Все мы заложники чужих хроник», – подводил черту численник. Читать дальше Давид Стельба не решился: знать будущее, значит, уже прожить его. Схватив календарь подмышку, он, как был в тапочках, бросился в лавку. Продавец уже вешал замок: потянув на себя дверную ручку, доставал из широченного кармана ржавые ключи. Давид Стельба открыл, было, рот, но слова застряли в горле.

– Подержите, – сунул ему ключи продавец, продолжая возиться с замком.

Давид Стельба застыл, как вопросительный знак, слушал скрежет железа, и ему хотелось вlepить продавцу пощёчину. Но обе руки были заняты. Наконец, лавочник освободил их, взяв численник, который опустил вместе с ключами в карман.

– И правильно, что не стали дочитывать, – зевнул он, возвращая деньги. – Ничего интересного – все умирёт.

Он смерил Давида Стельба равнодушным взглядом и, повернувшись, застучал каблуками по мостовой. Давид Стельба молча посмотрел ему вслед. И в самом деле, о чём говорить? Пустая беседа, что дырявое ведро – много вольёшь, да мало унесёшь. Тем более, что после ссоры с сыном Давид Стельба, слышавший с университетской скамьи отчаянным болтуном, говорил на языке молчания. Он переводил на него все слова, но слов было много, и один он не справлялся.

«Везде всё одинаково, – вздохнул он раз про себя, прочитав газету от первой страницы до последней, включая объявления, в которых отразилась вся тоска нашего времени, и состав редакционного совета. – Так будет всегда, и какая разница, за что кто «за» или чего кто против.

Он перевёл это на язык молчания, но оказался дурным толмачом.

– Как в той пьесе, – снова прочитал его мысли Авессалом.

– Это в какой-такой пьесе? – заглотнул наживку Давид Стельба.

– Она так и называется «ЗА ЧТО КТО ЗА». Вот, послушай (Авессалом развернул пустой лист, делая вид, что читает):

Кто-то: Ты был «за»?

Некто: Я «за» не мог...

– Ты занемог? А он как?

– Да, ну его! «За»...

– Да? Ну, егоза! Она как? «За»?

– «За»... но... «за»...

- Заноза! Н-да... А мы? «За»?
- Да. Мы «за».
- Как? И дамы «за»?! А он-то? Он-то «за»?
- Он... «за»... Ну, да...
- Да, он зануда. Но – «за». А вы ли «за»?
- Кому? Кому мне вылиза...
- А вы ли «за»?
- О, да! Выли «за»! Но – за глаза...

Глядя поверх листа, который не выпускал из рук, Авессалом Люсый издевательски замолчал. Давид Стельба сложил вчетверо газету, которую держал на коленях, и почувствовал себя любопытным, которому дверью прищемили нос. Он посмотрел на сына и, вспомнив их разговоры, вдруг понял, что они давно стали похожи на глухарей. С этого дня Давид окончательно отказался от слов и переводил на язык молчания своё невысказанное, опустив в комнате щеколду. А в том же подъезде Ираклий Голубень переводил с языка молчания свою боль, подбирая для неё слова. После своего ночного приключения, когда ему никто не открыл дверь, и он чуть было не замёрз на ступеньках своего подъезда, Ираклий Голубень всё не мог успокоиться. Хватая за рукава, он вместо своего обычного вопроса про литературу, теперь задавал другие, на которые не ждал ответов. Потому что задавал их самому себе. И ответы знал.

– Почему все живут, точно в маленьких трубочках, по которым снуют, как поршень? Почему мириады таких трубочек, скрученных в кабель, завязанных в узлы, не пересекаются, не пускают в себя? Почему, точно квартиры в доме, каждая сама по себе? И никто никому не нужен. И кроме себя никто не интересен. И каждому только до себя. Кажется, бросься с крыши и тогда услышишь: «Куда летишь, урод, – цветы на клумбе помнёшь!»

Выдернув руку, от Ираклия Голубень шарахались, а за спиной крутили у виска.

И этим подтверждали его слова.

Каждый имеет право на десять минут славы, и, когда в разгар летних отпусков опустевшую редакцию посетили журналисты с какой-то телевизионной передачи, им пришлось брать интервью у единственного сотрудника, которым оказался Ираклий Голубень. Они хотели услышать правду, чтобы потом донести её миллионам, конечно, несколько приукрашенную, куда ж без этого, но не слишком, а Ираклия Голубень, точно заклинило: он говорил об одиночестве, в пустыне которого бродят, как шатуны, но выйти не могут, точно это грозит безумием, о том, что никто никому не нужен. А в конце прочитал свой стих. И это стало его звёздным мигом. В доме теперь его останавливали, хватая за рукав, как раньше это делал он, благодарили за то, что открыл глаза, лезли обниматься, а, когда Ираклий Голубень выдёргивал руку, провожали долгим, понимающим взглядом. А на зеркале в лифте кто-то начертил губной помадой:

Чтоб горя хлебнуть до дна,
Чтоб счастья испить до дна,
Чтоб брата поднять со дна,
Хоть бы была война!

Все только и говорили о его выступлении, не давая проходу, бесцеремонно звонили в квартиру, сняв ботинки, колошматили ими в дверь, одновременно подсматривая в «глазок», так что он на день забаррикадировался платяным шкафом, выбираясь, как филин, по ночам. Ираклий Голубень не понимал, чем привлёк всеобщее внимание, ему казалось, что он наговорил банальностей, высказав то, о чём все и так знали, но молчали, и в глубине ему было стыдно, будто накануне, перебрав лишнего, буянил. Ночами он выскальзывал из дома, как тень, и каждый раз проверял в кармане ключи.

А к Савелию Тяхту спустился врач, живший этажом выше, и когда-то поставивший ему диагноз, что он боится мира и всю жизнь проведёт в доме.

– Слышал Ираклия? Как распинался! А не подумал, что станет, если все побратаются. Мы же вампиры, и нас лучше держать в отдельных клетках. Нам хорошо наедине с другими, и плохо – с собой. Недаром в тюрьмах нет наказания страшнее карцера. А выпустить всех на волю? Перегрызутся! Уж лучше пусть по своим трубочкам бегают.

Савелий Тяхт рассеянно кивнул. Он вспомнил, как говорил Ираклий Голубень, найдя отклик в его душе, и подумал, что сами по себе слова ничего не значат, а язык, как телефон, молчит, пока им не пользуются.

– Ты прав по-своему, – сказал он. – А Ираклий по-своему.

Врач посмотрел непонимающе, но спорить не стал. У него было не то настроение, он спустился к Савелию оттого, что у него не ладилось дома, где он давно привык отмалчиваться, и, пожав плечами, достал из кармана бутылку вина. Да, слова ничего не значат, опять подумал Савелий Тяхт, ставя на стол два бокала, только в речи вместе со страстью они наполняются правдой или ложью. На другой день встретив в лифте Ираклия, Савелий Тяхт пожал ему руку и, не отпуская, говорил так долго, что тому показалось, будто они застряли между этажами. Ираклий Голубень в испуге повернулся к начертанному губной помадой стихотворению, в которое тыкал Савелий Тяхт, и на улицу вынес единственную истину: одному плохо, с другими – невыносимо.

– Мы, верно, очень странные, – буркнул он на прощанье. – Увидеть бы всех нас со стороны.

И Савелий Тяхт озадаченно развёл руками.

Стихотворение в лифте принадлежало Саше Чиринá, которая уже кусала локти, что отвергла Ираклия. После того, как её выставила мать Савелия Тяхта, она начала в доме спать со всеми подряд, пока однажды не разглядела в зеркале своего единственного мужчину. Как и её мать-цыганка, она сразу узнала в нём свою вторую половину. Его звали Саша Чиринá. И, впервые полюбив, она потеряла с ним девственность. Так Саша Чиринá невольно последовала совету Ираклия Голубень, в шутку предложившему ей стать собственным мужем.

После холодной зимы лето выдалось таким жарким, что пот испарялся, не успев выступить. На крыше плавилась толь, у подъездов – асфальт, а воробьи падали замертво от солнечного удара. Загорелись торфяники, казалось, что под ногами горит земля, и от дыма уже не помогали мокрые простыни, завешивавшие окна. Викентий Хлебокляч и Дементий Рябохлыст навещали жену по очереди, ревнуя к ребёнку, которого каждый считал чужим. Изольда их путала, сама не зная, кому она мать, а кому – дочь. А однажды попыталась объяснить с мужем. Но, как и в прошлый раз, он не стал её слушать. «Ты мне не мни, – оборвал он её странным каламбуром. – Ты мни не мне. – Изольда посмотрела на него, как на сумасшедшего, а он, словно подтвердив её опасения, ушёл, напевая под нос: – Она произносила про износ ила, тоже, мне, тоже – мне...» Несмотря на своё эксцентричное поведение Викентий Хлебокляч пошёл в гору. В глубине он уже подумывал просить Изольду вернуться, а для этого решил сначала расширить свою жилищную площадь, выкупив квартиру Дементия Рябохлыста. Но тот ни в какую не соглашался её продать, затевая бесконечные споры. Окончательно переселившись в детство, он не брезговал и тем, что, как маленький, играл в «почемучку».

– А почему я должен её продавать?

Викентий Хлебокляч объяснял его выгоду, предлагая за квартиру сногшибательные деньги.

– А почему я должен тебе верить?

Викентий Хлебокляч терпеливо доказывал, что сделку можно заверить нотариально.

– А почему я должен верить нотариусу?

– Думаешь, если жизнь повернуть к началу, избежишь ошибок? – не выдержав, фыркнул Хлебокляч. – Нет, брат, ошибки, как ухабы, в какую сторону не едешь, одинаково растрясёт.

Они столкнулись лбами, никто не хотел уступать, а Изольда брезгливо наблюдала за ними, как за котами, метившими территорию. Чтобы избавиться от мучительной раздвоенности, она перечитала гору психологических справочников, от которых сошла с ума. Выходя к шоссе, она садилась с нищими, которым жаловалась, что боится стать дочерью собственному сыну. Проезжавшие мимо машины с включёнными в дым фарам обдавали её грязью, а нищие из сострадания делились с ней медяками. Однажды после закрытия своего магазина Викентий Хлебокляч обмахивался от не спадавшей даже по вечером жары потрёпанной фетровой шляпой и подсчитывал выручку, сводя дебет с кредитом. Он так увлёкся своим занятием, что не заметил, как подкатило чёрное авто. Из него, прихватив канистру с бензином, выскочили трое. Разбив витрину, они ворвались через неё в магазин, налетев, как торнадо, заперли Хлебокляча в подсобке и всё подожгли. Из-за стоявшего кругом торфяного дыма пожар поначалу не заметили, а когда его потушили, от Викентия Хлебокляча осталась горсть пепла, пустая квартира и кредит, превысивший дебет. Узнав о его смерти, Изольда тут же избавилась от своей раздвоенности, но к Дементию Рябохлысту не вернулась. Не будучи верной женой, она поклялась быть помнящей вдовой и, принося цветы на могилу Хлебокляча, превратила кладбище во второй дом. А сын, которому она стала мачехой, рос беспризорником, и, заполняя анкету, в графе «родители» писал: «Сирота».

Дементий Рябохлыст не просто так отказывался продать Хлебоклячу свою квартиру, без неё ему было никак. Он зимовал в ней, как в берлоге, которую летом сдавал, превращаясь в бомжа. Рябохлыст уже достиг возраста, когда все новости сводились к смерти кого-нибудь из ровесников, а мёртвые во сне являлись чаще живых, но по-прежнему оставался ребёнком, точно шёл в сторону, противоположную течению времени. Разбив палатку, он проводил лето рядом с детскими садами, выезжавшими на природу, платил молодым воспитательницам, которые напоминали ему жену, чтобы они сидели с ним, пока не заснёт. «Мамочка, – бормотал он во сне, – я боюсь темноты, не запирай меня в чулане, с летучими мышами, которые хотят меня ам-ам!» Во сне он часто скакал на деревянной лошадке, размахивая прутиком, как саблей, оборачивался на давно умерших родителей и восторженно кричал: «Ту-ту-у, поехали!» А когда посреди ночи просыпался, молодые воспитательницы вытирали ему сопли. Всего этого Изольда не знала. К этому времени она сама, как ракушка, обросла странностями, прослав в доме чудачкой. Заперев своего ребёнка одного в квартире, Изольда бродила по дому, набиваясь в гости к жильцам, с которыми была едва знакома, долго рассказывала, как любила покойного мужа, задним числом убеждая в этом себя, просила денег, чтобы поставить ему на могиле памятник. Савелий Тяхт, часто встречавший её на лестницах, сообщал в домовых книгах, что она могла забежать к нему вечером «на пять минут», а уйти под утро со словами: «Но главного я тебе так и не сказала». Или искренне обидевшись, несмотря на то, что он терпеливо слушал её всю ночь, фыркнуть: «Вижу, ты тоже меня не понимаешь!» Кончилось тем, что он престал её пускать. Как и остальные жильцы. И она замкнулась в четырёх стенах, изливая душу ребёнку, которому, как и ей, некуда было деться, и который слушал, глядя на мать своими телячьими глазами.

Был вторник, новолуние, и Давид Стельба, подчиняясь указаниям численника, голодал. Утром он вёл дневник, в котором, подводя итоги, стучал костяшками счёт: «На сандалиях – пыль, а на ранах – соль, на устах – небыль, а на сердце – боль...» Его бухгалтерия была двойной, но концы в ней всё равно не сходились. Сунув карандаш за ухо, Давид Стельба нахлобучил шляпу и, пугая мышей в парадной, выскочил вон. Накапывал дождь, из тумана гулливерами выступали высотки, а вдалеке чернели трубы котельной, свисавшие на дымах, как на верёвках, с промозглого, серого неба. Давид Стельба бродил целый день, но не помнил, где и зачем.

А вечером, вернувшись, увидел, как его бухгалтерию подытожили одной фразой: «В мозгах – канифоль!» У Давида защекотало в ухе, но по рассеянности он стал почёсывать шляпу.

– Да ты поэт! – носком сапога открыл он дверь в комнату сына.

– А ты не знал? – ухмыльнулся Авессалом Люсый. – Вот послушай: «Надрывался вокалист, рыжий гомосексуалист, танцевала обезьянка – престарелая лесбиянка...»

Давида передёрнуло, он хотел было выйти, но вместо этого спросил:

– Ты почему школу бросил?

– Сам знаешь, там готовят к одной жизни, а проживать приходится другую. – Авессалом презрительно сощурился. – А, думаешь, ты умный, образованный? Да ты просто закоснел в своих затхлых предрассудках!

Давид Стельба хотел, было, съязвить, но тут заметил, что сын лежит голый и курит в постели. А пепельница стоит на груди молоденькой девушки – грудь была плоской, с родинкой под левым соском. Давид Стельба покраснел и пулей выскочил из комнаты, обещая себе больше в неё не заходить. Простившись с девушкой, Авессалом ещё долго улыбался, вспоминая, как здорово врезал отцу. Отстаивая от его посягательств свою территорию, он превратил свою жизнь в протест: постоянно говорил о свободе, не подозревая, что она может обрушиться, как нож гильотины. Правда, дальше распущенных, невымытых волос его протест не пошёл. Но Авессалом верил в собственную неповторимость, и, если бы ему сказали, что его жизнь, существует лишь как отрицание отцовской, рассмеялся.

Книги стареют с каждым прочтением, а численник допускал только одно. К вечеру день сгорал вместе со своим листком на свече. «Гори огнём и синим пламенем», – пританцовывал Давид, глядя на исчезающую в пламени бумагу. От увиденного глаза в старости пучатся, как у рака, и на них вырастают очки. Поэтому старость видит всё. Но только не себя. «Мир – один большой парадокс», – так и не сумев перешагнуть через разногласия с сыном, бубнил к вечеру Давид Стельба, сжигая очередную страницу. Но он лгал. Это в его жизни царила сплошная неразбериха: он загораживался абсурдом от абсурда и ждал, когда в его численнике перевернётся последняя страница. У него была своя вера. А вскоре появилась и икона. Опускаясь на колени, он вешал на стену треснувшее зеркало и, стараясь не мигать, долго молчал, запуская свою грусть в белый свет, как в копеечку. «Мощи мои живые, – трогал он в зеркале щетину на подбородке, – да от тебя одни глаза остались!» Его зрачки сморщились, как сушёные виноградины, и прошлое застряло в их трещинах уродливыми наростами, не пропуская больше ни настоящего, ни будущего. Он сверлил в нём дыры, из которых черпал горстями пустоту, а после шарил слепыми руками, натываясь на боль, за которой шёл, как за компасом. Но он ещё надеялся и старался глядеть на своё отражение свысока. Цыганка, в детстве гадавшая по руке Давиду Стельбе, предрекла ему смерть от воды. Тогда он, конечно, ей не поверил – как может утонуть, кто как рыба в воде, – но с тех пор избегал канала. А идти кроме него было некуда, не гулять же по трамвайным путям, и Давид Стельба проводил дни дома. А вечерами выходил во двор в надежде встретить Авессалома – квартира для этого была слишком большой, в ней они терялись, как в густом, тёмном лесу, со временем научившись передвигаться, словно призраки, не замечая друг друга. Начались дожди, капли обжигали ладони, а ветер лез за воротник. Давид садился на скамейку, уперев руки в колени, сплёвывал между длинных, расставленных, как у кузнечика, ног и, выпуская облака табачного дыма, ждал. Но дожидался лишь тьмы, съедавшей тени. Проводив последний катер, ревевший далеко на канале, он тяжело поднимался, качая головой: «Эх, Авессалом, Авессалом...»

– Где тут квартира Давида Стельбы? – обратился к нему раз одинокий прохожий с букетом чёрных роз. И скосил кошачьи зрачки: – Того, что сегодня умер.

Давид похолодел. Он вдруг представил себя на собственных похоронах среди чужих, равнодушных людей, которые с каменными лицами толпились возле гроба, таинственно перешёптывались, целуя его в лоб. Но себя Давид не увидел, как ни старался. Он открыл, было, рот,

но человек с букетом уже исчез, а его будил рёв плывущего по каналу катера. Протерев кулаками глаза, Давид Стельба медленно поднялся и ещё медленнее пошёл домой.

Ребёнком Давид Стельба смотрел на взрослых и думал, что они состарились раньше, чем к ним пришла старость, будто жаждали поскорее её встретить, он видел, что их сознание, как засохшая глина, приняв причудливые формы, застыло, утратив пластичность, что их представления о мире, производя впечатление твёрдых и незыблемых, сложились в заданных обстоятельствах и ограничились приспособлением к ним, и потому готовы рассыпаться от малейшего толчка, как стеклянная ваза, и, зная это, люди инстинктивно их оберегают, не вступая в диалог, который превращают лишь в очередную возможность проговорить давно заученное, и тем самым всё глубже погружаются в одиночество, как подводная лодка, ложась на его дно, поэтому достучаться до них невозможно. А теперь Давид получал наглядное подтверждение детским наблюдениям. В своём лице. Помешивая ложкой кофе, точно раздвигая в темневшей мути проступавшие картины прошлого, он оглядывался на свою жизнь, и она представлялась ему нелепой, как песня в сурдопереводе. «Из века в век жизнь одна и та же, – думал он, – только переводчики у неё разные». Когда он оказался посреди чужого времени? Посреди людей, родившихся из чемоданов и сундуков, людей, у которых цепкие, крючковатые пальцы растут из локтей и плеч, растут из головы, заменяя волосы, выпавшие ещё до рождения. Давид видел, что эти люди стоят на плечах других людей, и оттого, как кроты, слепы. А он не хотел быть слепым и потому выл от одиночества, чувствуя себя тем, кем был на самом деле – выжившим из ума стариком, которого все бросили, и который заслонился от всех религией численника. В такие минуты Давид Стельба понимал, что он и есть тот человек, про которого сказали, что он умер.

Иногда Савелий Тяхт, в обязанности которого входило вести домовые книги, их запускал, но потом всегда навёрстывал, работая, как вол, до зари. И тогда они пухли на глазах, вмещающая тысячи судеб, а он высыхал, как колодец. В его домовую книгу попадали истории про старожилов и про вновь прибывших, с которыми он знакомился по долгу службы.

– Мне сегодня стукнуло столько, что мог бы выйти на пенсию, будь я женщиной! – останавливал у подъезда всех подряд Пахом Свинипрыщ, въехавший в квартиру погибшего Викентия Хлебобляча. И наливал доверху стакан, как было принято в его деревне. Ладони у Пахома были липкие, он шёл в ногу со временем, и был всегда на коне.

– Таких за одну биографию расстреливают! – шушукались у него за спиной, хотя о себе он ничего не рассказывал.

– Держи карман шире, а рот на замке! – ухмылялся он, обнаруживая тонкий, как у охотника, слух, и плотнее натягивал кепку на большие уши.

Говорить с ним было не о чём, хотя трещал он без умолку, и, встречая его, Тяхт думал, что у каждого времени своя правда. «А у каждой правды – своё время, – глядел он после на тикавший будильник. – И часы говорят её, то спеша, то отставая». А во сне видел мать. «Не шевелись! – строго приказывала она, пока он, зажмурившись, терпел боль, а потом подносила зеркало: – Смотри, какого крокодила выдавила!» И Савелий кивал, проклиная свои угри, не понимая, зачем ему быть красивым, если никто его всё равно не видит. А просыпаясь, вспоминал, что матери, как и угрей, больше нет, а его кроме жильцов по-прежнему не видит никто.

– Думаешь, закричав, повернёшь реку? – зайдя познакомиться, подливал в рюмку Ираклия Пахом Свинипрыщ. – А войдя, измеришь? Ничего подобного! Вот и остаётся только рыбу ловить.

Ираклий Голубень невпопад кивал, думая, что соловей может и залаять, а собака никогда не запоёт. Пахом Свинипрыщ опрокидывал рюмку за рюмкой, не пьянея, гнул своё:

– Тебя смущает мой провинциализм? Но провинциализм определяется не местом рождения, а состоянием души. – И вдруг, проницательно посмотрев, оgoroшил: – А что ты сделал для литературы?»

Так Ираклий Голубень понял, что Пахом Свинипрыщ отобрал у него Сашу Чиринá.

Заняв квартиру Викентия Хлебокляча, Пахом примерился и к выгоревшему магазину. «Я приехал дела делать, а не слюни пускать, – бросал он направо и налево. – Если сами ни на что не способны, хоть посмотрите, как это делается». На собрании, где решался вопрос, отдавать ли ему выгоревшие площади, голоса разделились, и тем, кто противился, Пахом предложил на выбор: процент с доходов или выселение, которое обещал устроить незамедлительно. «Ну что, беспозвоночные, – подгонял он, – долго будем нюни разводить?» Смущаясь, протестующие из задних рядов стали переселяться поближе к доходам. «Ясное дело, кто же от денег откажется?» – подбадривал Пахом Свинипрыщ, которому казалось, что дело уже выгорело. Но тут вмешались небеса. У одного из жильцов оказался знакомый, церковный иерарх, который предложил Пахому исповедоваться. Пахом неожиданно согласился, поставив условие, что и жилец не станет больше противиться его владению магазином. Явившись в собор к заутрени, Пахом долго мялся, не зная в чём каяться, а, когда речь зашла о магазине, предложил долю. Иерарх, обомлев, кивнул на распятие. «Бросьте, святой отец, – подмигнул Пахом, – копейка-то посильнее Христа будет!» Но у иерарха оказались связи, и он доказал обратное: освятив прежде головёшки, вместо магазина устроили домашнюю церковь, в которой поставили служить молодого батюшку с татарской бородкой.

Пахом Свинипрыщ был не единственным провинциалом, поселившимся в доме. Вместе с невесть откуда взявшимися тараканами, дом переживал их нашествие. Они приезжали отовсюду – с севера, юга, востока и запада, из мест отдалённых, и не столь, случалось, даже из-за океана, их было легко отличить по нездешнему выговору, который они привезли вместе с чемоданами, саквояжами и сундуками, и старожилы называли их варварами. Занявший апартаменты Матвея Кожакаря был из маленького, пыльного городка, затерявшегося в южнорусских степях. Его звали Фрол Покотило-Копотилов. Он носил обтягивающие трико, подчеркивавшие мужское достоинство, и, когда рассказывал о любовных подвигах, остальным казалось, что они никогда не бывали с женщинами.

– Знаем, знаем, шалун, – перебивали его, едва он открывал рот, – дон Жуан отдыхает!

– Шалун уж отморозил «пальчик», – вздыхал он, косясь на своё выпиравшее сокровище. – А бес стучит ему в ребро!

От него шарахались, как от прокажённого, но, заразившись его философией, мужчины стали измерять счастье в женщинах, с которыми провели ночь, а женщины – числом своих мужчин. Из жильцов он близко сошёлся только с Пахомом Свинипрыщ.

– Мы с тобой ещё понаделаем дел! – обнимал его тот, доставая бутылку.

– Да уж, развернёмся! – пропустив рюмку, веселел Фрол. – Главное, выбраться из этой дыры. – Пахом вскидывал бровь. – А разве не замечаешь, тут все сумасшедшие, жить здесь как в психушке.

И Пахом Свинипрыщ стал обращать внимание на странности жильцов, к которым привык.

– Да они все чокнутые, – убеждал Фрол. – Чего им не хватает? Бабы есть, мужики тоже, живи – не хочу! А взять угрюмого управдома. Пишет и пишет, как прокурор. И куда мы попали?

Замолчав, Фрол наливал очередную рюмку, а Пахом Свинипрыщ вспоминал деревню, посиделки до зари, горластых петухов и, почесав затылок, кривился, не в силах понять, как оказался в каменном мешке.

Расходились они рано, ложась спать, когда в доме только включали телевизор. Перестав здороваться, они косились на жильцов, будто происходившее их совершенно не касалось, будто жизнь в доме текла мимо них. А однажды исчезли. Потому что никогда не существовали. Их выдумал Савелий Тяхт, чтобы взглянуть на дом со стороны. Пахома Свинипрыща он слепил

с того полнокровного хохла, который сходу ввязался в пьяную драку, едва увидев её из окна, а Фрола Покотило-Копотилова – по наитию.

– Мы – сумасшедшие? – расхохотался Ираклий Голубень, которому он, листая домовую книгу, прочитал историю вымышленных жильцов. – А чем они лучше? Что сделали для литературы?

– Но они же персонажи, – удивился Тяхт. – Какой с них спрос?

– Тем более!

Всплеснув руками, Ираклий уткнул в стол пухлый палец, ставя точку, и всем своим видом показывая, что тут больше не о чем говорить. Но он лукавил. Он тоже видел, насколько все в доме привыкли к иззубренным граням чужого сумасшествия, – подогнанные друг к другу, точно острые, необработанные камни, эти грани вместе с собственными составляли разноцветную мозаику общего безумия.

Разговор с Ираклием Голубень подвёл черту фантазиям Савелия Тяхта, но мифы зачистую оборачиваются реальностью. Вместо сгоревшего магазина, как он нечаянно напроорочествовал, действительно, устроили домашнюю церковь, в которой служил отец Мануил, молодой, с татарской бородкой. Он поселился в шестом подъезде, спускаясь на службу, подметал лифт долгополой рясой, но его часто видели и без неё, на велосипеде, наматывавшим на колёса дорогу вокруг дома, жмушим педали наперегонки с летевшей по набережной пылью, когда ветер трепал его смоляные волосы. Весь его облик вызывал абсолютное доверие, и Ираклий Голубень, так и не обретший покоя после расставания с Сашей Чиринá, пришёл к нему на исповедь. Начал он с того, что перечислил семь смертных грехов, которые за долгую жизнь наверняка совершил, заявив, что ни в чём не раскаивается – без них и жизнь – не жизнь, вроде еды без соли, – потом, перескакивая с пятое на десятое, поведал о себе (однако про Сашу Чиринá выложить не решился), а кончилось тем, что рассказал, как сослуживцы в редакции ползают по начальственным кабинетам, точно из них вынули позвоночник, как они постоянно насто-роже, и сверлят оценивающим взглядом. Нет-нет, его это не беспокоит, просто наблюдая это, он каждый раз думает, что все, как железные опилки, подчиняются невидимому магнитному полю, не отдавая себе отчёта в мыслях и поступках.

– А магнит – это Бог, – выслушал его о. Мануил, протянув для поцелуя крест.

– Нет, святой отец, это дух времени.

О. Мануил смутился. Он стал лихорадочно вспоминать, чему его учили в семинарии, и, не найдя ничего подходящего, скривился:

– А что такое время?

– А что такое Бог?

Забыв про крест, который так и держал поднятым, о. Мануил затряс бородкой, которая, казалось, росла на глазах. Ираклий Голубень оставил за собой последнее слово. А, закрывая дверь, – последнюю надежду. Теперь последним его желанием было увидеть Сашу Чиринá.

Первое время после смерти матери Савелий Тяхт, вздрагивая от малейшего шороха, ждал, что в дверь постучит Саша Чиринá. Она выразит ему соболезнования, а он оставит её у себя. «Все препятствия исчезли, – репетировал он долгими бессонными ночами. – Больше никто не разлучит нас!» Но шли годы, и вместо Саши Чиринá явилась тоска. Хватаясь за сердце, Савелий Тяхт забирался по крутым, узким лестницам на чердаки, ключи от которых хранил, как управдом, спускался в сырые, гниlostные подвалы, заглядывал в замочные скважины, в занозистые щели дощатых дверей, разыскивая зелёного человечка с морщинистым лицом, огромными ушами и длинными, крючковатыми пальцами. Разыскивал, чтобы убить. Савелию Тяхту казалось, что он насылает на него тоску, как домовый, которым его пугали в детстве, насылал темноту. Но зелёный человечек умело прятался, ускользая вместе с шуршавшими мышами. Тяхт швырял в него ножи, запускал сапогами, кидал электрический фонарь и попавшийся под руку мокрый, засиженный слизняком булыжник – ответом ему было лишь

злое хихиканье. И тогда он просыпался. Плеснув в лицо воды, окончательно прогонял сон, извлекал из чулана грязную одежду и отправлялся на поиски зелёного человечка. Но сон оказывался вещим. Быстрым взмахом фонаря обводя заброшенные помещения, он видел только сгнившие балки, метавшихся по сторонам крыс с мокрой шерстью, глотал пыль, разгоня кашлем мотыльков, круживших в спёртом, затхлом воздухе и – снова просыпался. Несколько раз за ночь. Пока брызнувший рассвет не прогонял кошмары. Поэтому, инспектируя раз чердаки, он решил, что спит, застав среди хлама, оставленного наркоманами, старинное кресло, в котором сидел Ираклий Голубень. Тяхт протер глаза, прежде чем тронул его за локоть. «Бессонница? – обернулся Ираклий, под ногой которого хрустнул шприц, и подтолкнул Савелия Тяхта к дыре в крыше, сквозь которую была луна и проглядывал кусок звёздного неба. – Это оставил в наследство Матвей Кожакарь. Будем вместе считать звёзды?» Савелий Тяхт кивнул и тут понял, что болен. Он лежал в постели, дрожа от лихорадки, спустившийся сверху врач делал ему укол, а по обоям, сбивая в кучу нарисованные цветы, с хохотом прыгали зелёные человечки.

Осенью во дворе жгли листву, летом – тополиный пух, а весной, когда дни, наступая на пятки ночам, приходили раньше обещанного, когда на разрисованных мелом тротуарах играли в «классики», а лавочки сдавались влюблённым, он превращался в птичий базар. Детворе сколачивали одноглазые скворечники, которые прибывали к обнажённым деревьям. Подставив лестницу, Академик вскарабкался к вершине огромного красного дуба, держа подмышкой скворечник, а в руке молоток с гвоздями. «Смотри, дочка, – обернулся он к земле, – твой отец выше всех!» А потом стал неловко хватать воздух, и Молчаливая долго смотрела на рассыпавшиеся по траве гвозди, разбившийся скворечник и отца, который, распластавшись, не выпустил из руки молотка. Она не плакала. И когда, закрыв лицо простынёй, отца положили на носилки, тремя шагами проводила его до машины, а потом забыла. Вместе с обидой, от которой потеряла дар речи. И пройдёт много лет, прежде чем она, став красавицей, попросит ухажёра прикрутить проволокой скворечник для младших братьев, а, когда он влезет на дерево, вдруг вспомнит, чья она дочь, и трое суток будет лить невыплаканные слёзы. «Нельзя любить отца, как мужа, – будет утешать её Изольда, живущая в это время с Викентием Хлебоклячем и любящая мужа, как отца. – Тем более, мёртвого». Она захочет добавить, что все девушки проходят через это, но, побоявшись перевести разговор на себя, промолчит. Отвергнув после смерти мужа Дементия Рябохлыста, Изольда подумала, что нашла в себе силы не поддаться безумию, а на самом деле лишь перешла на другую его сторону, заглянув на тёмную сторону его луны, которую показывает одиночество. Старость к Изольде подкралась незаметно. Она определила её лишь по запаху, который больше не перебивали жасминовые духи. Изольда всё пристальнее вглядывалась в фотографию на могильной плите, так что однажды увидела у мужа телячьи глаза. В этот день, подцепив в детском саду ветрянку, умер Дементий Рябохлыст. Болезнь высушила его, сморщила, как младенца, умершего при родах. Изольда съездила за телом за тридевять земель и тайно похоронила его в могиле Викентия Хлебокляча, втиснув имя Рябохлыста между датами его жизни и смерти. И посчитав, что мужьям есть о чём поговорить, оставила одних. Изольда уже скрывала свой возраст, однако потребность любить у неё только разгоралась, и она занялась воспитанием сына. Ругая себя за упущенные годы, она уверяла, что сделает всё, чтобы заслужить его прощение, но все видели, что Изольда делает из него мужа. Его имени никто не знал, и все звали его Изольдовичем. Сын двух отцов и пасынок собственной матери, он глядел на мир телячьими глазами, которые едва умещались на змеиной головке. От Бога или от дьявола, но талант у Изольды был. Она играла на любовном чувстве, как на музыкальном инструменте, извлекая всю его гамму – от жадной, слепой страсти до нежной привязанности, от животной властной чувственности до снисходительной покровительственности. Она давно усвоила, что в любви одному везёт ровно столько, сколько не везёт другому, и поэтому, когда, заговорив у школы об уравнивании в математике, Савелий Тяхт погладил

змеиную головку с телячьими глазами, Изольдович послушно взял его за руку, согласившись у него жить. И Савелий Тяхт расцвёл. Точно убил, наконец, в себе зелёного человечка.

– Мальчишке отец нужен, – толковывал он в прихожей явившейся Изольде.

– А мать? – сузила она глаза.

– Да, пойми, я из него сделаю мужчину.

– Откуда тебе знать, что это такое? – Сделав резкое движение, Изольда в дверную щель разглядела сына, который расставлял на полу оловянных солдатиков, и недобро ухмыльнулась: – Вместе играете?

Савелий Тяхт развёл руками:

– Тебе не понять.

Изольда смерила его презрительным взглядом, а выйдя за порог, обратилась к адвокату, который жил в соседнем подъезде и накануне опустил в ящик ламинированную визитку: «Соломон Рубинчик. Ваш до гроба». Он слушал её с жадным вниманием, будто кукушку, отсчитывавшую годы, ловил каждое слово, облизывая губы, чмокал, точно пробовал его на язык, потом взял аванс, и дело завертелось. А вместе с ним – и другие дела. Как некогда эпидемия гриппа, от которого умерла мать Савелия Тяхта, дом охватила судебная лихорадка. «Судитесь, да не будете засудимы!» – встречая клиентов, пожимал руки Соломон Рубинчик, а, прощаясь, потирал свои. Ходил он в одних и тех же замызганных туфлях цвета почерневшего серебра, раздвигал мизинцем паутину в ушах, которую не успевал выстригать, а по субботам раскладывая по кучкам, пересчитывал деньги, не причисляя это к запрещённой еврейским законом работе, и на душе у него всегда стояла поздняя осень. У Соломона Рубинчика были водянистые глаза, которые постоянно взвешивали, измеряли, вычисляли, а если находили недостойным внимания, сонно прикрывались. Теряя интерес, Рубинчик отворачивался, понуро плетясь прочь, точно гончая, взявшая не тот след и виновато повиливавшая хвостом. Его стараниями иски в доме нарастали лавиной, все судились со всеми, и каждый в душе считал себя правым. Казалось, даже старухи на лавочках, не находя общего языка, говорили через адвоката. Делили квадратные метры, детей, машины, гаражи, старики делили могилы, а дети – песочницу. Обиды множились, порождая обиды, и сутулую, с покатыми плечами фигуру Соломона Рубинчика, который двигался крайне осторожно, глядя под ноги, чтобы пяткой не наступить себе на носок, видели в трёх местах сразу. «Только Кац не хватает», – ворчал Савелий Тяхт, вспоминая, как соседи раньше делились хлебом, солью или спичками. И накаркал. Лёгкие на помине, Кац оказались легки на подъём. Уезжая, они оставили за собой квартиру, в которую, уйдя от мужей, с разрешения Тяхта, распорядившегося жилым фондом, временно въехала Изольда, и теперь, звоня в двери, возобновляли старые знакомства. «Вспомните, как жили, – заводили они, едва переступив порог. – Этот вечно пьяный Академик... Мечтатель Кожакарь, не нашедший себе места. А грязь? А голубятни? Да что говорить, воздухоочистителей не было, и, справив нужду, жгли бумажку!» «Зачем же было возвращаться?» – недоумевал Тяхт. А тут поползли слухи, что Кац вернулись не с пустыми руками, что они купили землю под домом и собираются всех выселить, чтобы на его месте построить торговый центр. Дом переполошился. Вылетев из своих скворечников, жильцы превратили двор в птичий базар. А успокоились, когда Кац заявили, что выселения не будет, а если и будет, то все получают новые квартиры. «Снос дома не окупается», – приводили они главный аргумент на общем собрании. «Когда оккупация, всё окупается», – бормотал под нос Савелий Тяхт, предчувствуя, что рано или поздно Кац оседлают дом, как покорную лошадь, заставив всех играть по своим правилам. Подняв руку, он попросил, было, слова, но вокруг уже бешено аплодировали, точно били мух. А громче всех – Изольда, у которой хлопали даже ресницы, не скрывая светившейся в глазах радости оттого, что она недавно выиграла процесс. Выиграла в первом же слушании – Соломон Рубинчик знал своё дело. И когда Изольдовича вернули матери, которая не смогла простить ему обиды, он отправился в детский дом.

В квартиры провели интернет, на балконах оттопырили уши спутниковые тарелки, и весь мир оказался на ладони. Теперь видели собеседника, не отрываясь от экрана. Но разговоры не клеились. И тут открылась страшная тайна, что телевизор интереснее. Спасаясь от одиночества, Савелий Тяхт проводил сутки на интернетовски форумах, завязывая случайные знакомства. Ему много писали. Но не те, кого он искал. А те, кого искал, молчали. И тогда возвращалась тоска. Домовые книги он совершенно забросил. Они пылились на стеллаже, перевязанные бечёвкой, обтрёпанными листами напоминая взъерошенного птенца, пока тоска не подступила с такой силой, что однажды, коротая глухой осенний вечер, когда по двору бегала одинокая лайка с завернутым набок хвостом, он ни выставил их в интернете, отправив в мир, как когда-то в глубоком детстве запуская в него голубей. Шли годы, как чёрствые крошки, хрустевшие на зубах, превращались в густую, липкую жижу. Савелий Тяхт по-прежнему встречал в одиночестве хмурые утра, коротал дни, пересчитывая квартиры в доме, как свои морщины, говоря с жильцами на их языке, постепенно забывая свой, а вечера проводил в компании собственной тени, пока однажды домовые книги, запущенные в интернет, не вернулись отзывом, бившим, как бумеранг: «Что это за дом? Для умалишённых? Или населён извращенцами? А может, больная голова рукам покоя не дает? Похоже, автор этих домовых саг не покидал глубокого подвала в психбольнице, куда попал в раннем детстве. „Пусть живёт в своём доме, – спускается к нему врач. – Наш-то холодный“». Вчитываясь в строки, Савелий Тяхт уже и сам не знал, где правда. Ему чудилось, что он, действительно, сидит в тёмном, пропахшем луком чулане, сквозь дощатый потолок которого едва пробивает свет, что его окружают невропаты, а он – один из них, раз повсюду видит ложь. В своих размышлениях Савелий Тяхт пошёл дальше Матвея Кожакаря, выводившего уравнение жизни и вопрошавшего, почему всё устроено так, а не иначе. «Почему всё устроено не так? – спрашивал он себя. – Почему идёт в одну сторону? И почему не в нашу?» Лысина у Савелия Тяхта, бывшая когда-то со сложенный носовой платок, непреклонно увеличивалась, словно этот платок разворачивали, а борода росла, точно на неё перебегали волосы с головы. В зеркале он не узнавал себя, несколько раз порываясь поговорить с отражением, открывал рот, но говорить было не о чём. Ему было всё труднее и труднее нести свои годы, после ночного дежурства у него уже ныли кости, и, задернув шторы, он бросался на диван – скрипели пружины, и поднявшаяся пыль долго кружила, поблёскивая в солнечном луче, одиноко сочившемся сквозь щель в занавеске, возвращала его в прошлое, когда долгие зимние вечера ещё не скрашивал телевизор, когда растекавшейся, как жидкое мыло, весной надевали на валенки резиновые калоши, и продавцы вместо кассовых аппаратов щёлкали на счётах. Тогда, ребёнком, Савелий Тяхт сидел после школы дома, отдав двор во власть Академика, верховодившего местной шпаной, рос тихим «ботаником», которому книги заменяли всё, но не чувствовал себя обделённым и несчастным, не понимая, отчего так грустит его одноклассник, живший с ним в одном доме и с первого класса сидевший с ним за одной партой.

– Разве тебе не скучно? – спрашивал тот после уроков, с тоскливой небрежностью собирая портфель.

– Нет, – удивлялся Савелий.

– А серое воскресенье? Просыпаешься, а заняться нечем?

Поначалу Савелий подозревал розыгрыш, но печальный взгляд влажно блестящих глаз, его исключал. И Савелий смущённо доставал из портфеля бутерброд, аккуратно завернутый матерью, ломая, предлагал половину, и они молча жевали, пока не оставались в классе одни. А потом вместе брели домой и, простившись во дворе, расходились по своим подъездам. Так тянулось до выпускного вечера, куда Савелий явился в узких, вышедших из моды брюках и ушитом, с чужого плеча, пиджаке, а его одноклассник не явился вовсе. И он, как и весь класс, как и вытянувшиеся в струну учителя, с каменными лицами вручавшие опечатанные на вошённой бумаге путёвки в жизнь, опять его не понял. А сейчас, спустя множество лет, сверкавшая в воздухе пыль напоминала ему другую – стоявшую столбом в щелистом сарае, с перекрещи-

вавшимися пучками света, где на крюке, вбитом в матицу, висел его однокашник. И теперь Савелий Тяхт понимал его, раньше других получившего путёвку в смерть, понимал, может быть, даже больше, чем хотел, как понимал и то, что для светлой головы надо, прежде всего, выбить всю дребедень, которой пичкают в школе. В этом он тоже стал полной противоположностью Матвея Кожакаря, сотворившего из школы кумира. Замученный воспоминаниями, запертыми внутри, как в чулане, оттого что ими не с кем было поделиться, Савелий Тяхт выходил в тёплый июньский дождь, надеясь от них освободиться, словно струйки воды, стекавшие по волосам, смоют и то, что находится под ними. И однажды он понял, что секрет спокойной старости состоит в том, чтобы заключить честный союз с одиночеством. С тех пор ему стало легче. Зацепив ногой табурет, он выставлял его на балкон, усаживаясь на него, как в детстве, по-турецки скрестив ноги, наблюдал, как пламенел закат, как зажигались и гасли окна, как переезжали из квартиры в квартиру, точно разыгрывая шахматную партию, как судачили внизу старухи, жгли костры бомжи, он выкуривал трубку за трубкой, пока его не прогоняли сгустившиеся сумерки. И ему казалось, что его окружают люди без внутреннего мира, которые только думают, что думают, повторяя чужие слова, они смеются чужим смехом и плачут чужими слезами, и не понимают, зачем делают то, что делают, как не понимает и он, зачем ведёт их домовые книги. Савелий Тяхт гнал от себя эти мысли, но они возвращались, неотвязные, как августовские мухи, и он не мог взять в толк, куда плывёт дом.

Саша Чиринá была счастлива со своим мужчиной. Он стал её тенью, клянясь, что другие женщины его не интересуют, и она в ответ поклялась ему не изменять. Поэтому, когда её пригласил к себе импозантный мужчина, с длинными, как ячменные колосья усами, она рассмеелась:

– Знаешь, сколько у меня было любовников? Пальцев не хватит.

– Одним больше, одним меньше, – распахивая дверь, обнял он её за талию. – А я не увеличу их числа.

В своей самоуверенности он был неотразим, и неожиданно для себя Саша Чиринá уступила. Однако её ожидания не оправдались – всё прошло средне. Мужчина лучше выглядел в одежде, чем без, к тому же в его холостяцкой постели Сашу Чиринá не покидало чувство давно виденного. Она не могла оставаться у него на ночь, а вернувшись домой, долго поправляла в зеркале волосы, не понимая, почему так легко рассталась со своим мужчиной, предав и его, и себя. Саша Чиринá приняла душ, смывая остатки воспоминаний, а потом, уткнувшись в подушку, ревела полночи, увидев, что ликов у одиночества – пальцев не хватит.

Мужчина, который пригласил Сашу Чиринá, был Ираклий Голубень, от которого она ушла когда-то в чём мать родила, и с которым до сих пор ещё не оформила развода. Так что слова Ираклия о том, что он не увеличит числа её любовников, были чистой правдой. Несмотря на первое чувство, Саша встретила с ним ещё раз. А потом ещё. Когда количество свиданий превысило число ликов у одиночества, она переехала в его квартиру. Так всё вернулось на круги своя. Но с поправкой на Сашину беременность. Ребёнок, родившийся у неё, был похож сразу на всех её любовников. И носил фамилию матери. С тех пор семейная жизнь Ираклия Голубень совершенно наладилась. Пока Саша Чиринá бегала по редакциям, пристраивая его статьи, написанные между делом, но от этого обретавшие лёгкость, он сидел с ребёнком, которого называли Прохором.

– А знаешь, что я сделал для литературы? – показывая козу, напевал он раз вместо колыбельной. И ему показалось, что ребёнок сложил фигу.

– Правильно, ничего... – вздохнул Ираклий Голубень, склонившись над кроватью. – А почему? Потому что литературы давно нет! Сдохла литература-то!

Младенец скривился.

– Понимаю, ты думаешь, мне слабó? – скорчил в ответ рожу Ираклий Голубень. – А напрасно! Страница в день для меня – раз плюнуть. Получается роман в год! Но зачем?

Знаешь, кто больше всех говорит? Кому нечего сказать. Вот, ты лежишь себе, помалкиваешь. А всё знаешь. Потому что недавно пришёл оттуда, где про нашу жизнь всё известно. А когда мы говорить научаемся, то всё забываем. Оттого и говорим всё больше, чтобы убедить себя, что говорим не зря. И не замечаем, что нас давно не слушают...

– Заткнись, придурок! – взвизгнул младенец, укусив Ираклия за палец. – Ты мне своей лапой рот зажал!

Голубень отпрянул, уставившись на красневший палец, который крутил в воздухе, не понимая, куда с него делся ноготь, до тех пор, пока не проснулся, обнаружив, что убаюкал себя. Он сладко потянулся, протирая глаза, когда младенец в кроватке всхлипнул:

– А роман-то пиши: во-первых, будешь при деле, во-вторых, за умного сойдёшь.

Ираклий Голубень удивился больше совету, чем тому, что ребёнок заговорил, и тут проснулся окончательно. Он лежал, свернувшись в детской кроватке, а на него, не мигая, смотрел распеленавшийся младенец.

– Агу, Проша, агу, – спросонья пробормотал Ираклий, пощекотав ребёнка пальцем – тот был красноватым, с белевшими на нём следами от укуса.

Иногда к Ираклию, когда дома не было Саша Чиринá, по-соседски заходил Савелий Тяхт, живший в квартире на той же площадке. Он ещё живо хранил в памяти ту неделю, которую провёл с Сашей Чиринá, поэтому видеть её было бы ему нестерпимо. С Ираклием об этом он не обмолвился ни словом. Они пили чай с можжевелевым вареньем, наливая в стаканы кипятков с горкой, хрустели маковыми баранками, и перебирали темы, как бельё в платяном шкафу.

– Раньше ни у кого денег не было, и о них никто не думал, – прихлебывал из блюда гость.

– А сейчас денег тоже ни у кого нет, но все о них только и думают, – подливал из чайника хозяин. И сжав в кулаке, щёлкал баранку. – А на плаву всегда сам знаешь, что.

– А молодые? – ворчал Савелий Тяхт. – Бегают, высунув язык, а счастье для них всегда за поворотом.

Они сидели за чаем. Два нестарых ещё человека. Два старика. И казалось, что за гробом они будут также вести неспешные беседы, понимая друг друга без слов. Как и при жизни, они будут обсуждать времена, ругая настоящие и хваля прошедшие, не замечая, что находятся в вечности.

У себя Савелий Тяхт редко кого принимал, гости, приходившие когда-то к его матери, остались в прошлом. Но на его полувековой юбилей к нему спустился врач, живший этажом выше. Он держал бутылку вина, которая описала в воздухе полукруг, когда он широко развёл руки, чтобы обнять хозяина.

– Сколько помню, всё сидишь на одном месте, – сказал он, не выпуская из зубов клубившейся трубки. – Съездил бы куда, как Кац, попутешествовал...

Тяхт предложил ему стул, доставая из шкафа два бокала.

– Хватит, напутешествовался. Пятьдесят раз облетел вокруг Солнца, и везде одно и то же.

Врач ударил бутылку по дну, так что выскочила пробка. При этом несколько капель пролилось на пол, и он растёр их ботинком.

– И то верно, – вздохнул он, разливая вино. – Мы оба напутешествовались, куда уж больше.

Врач поднял бокал, они со звоном чокнулись, и в тот вечер, как и много лет назад, когда он поставил Тяхту диагноз страха перед жизнью, выпили две бутылки вина и выкурили две трубки – сначала у юбиляра, а потом, поменявшись ролями хозяина и гостя, – у него. Так что путешествие, когда он проводил Тяхта домой, а потом снова вернулся, показалось ему кругосветным.

Серый, серый дом с одинаковыми, как соты, окнами, которые то освещаются, то гаснут, будто играя в «пятнашки». Переставь их местами – что изменится? Судьба, как солдатская шинель, и нет разницы какую носить.

Михаил Михолап из четвёртого подъезда шагал по набережной канала и не мог понять, что же такое жизнь. Был вечер, его тень крутилась под фонарями, как стрелка часов.

«Жизнь, – думал Михолап, – жизнь, жизнь...»

Михолап видел прошлое всего на шаг, зато будущее – на два, и боялся прожить свои годы, не разгадав их тайны. А оттого топтался на месте. Его жизнь уже перевалила за середину, и, будто возвращаясь из скучных гостей, он прикидывал выброшенные на ветер слова, из которых не складывалось ни одного предложения, и думал, что прошлое, как отрезанный ломоть, – с кем его съел, неведомо.

Когда-то Михолап закончил факультет ненужных профессий и с тех пор мучился: зачем было столько изучать, чтобы потом старательно забывать. Его начальник – Михолап работал в бюро по продаже лотерейных билетов – гордился книгами, которые не прочитал. «Кто умен – тот дурак!» – приговаривал он, расцветая подсолнухом среди лстивых улыбок, и Михолап, качаясь, как водоросль, согласно кивал.

От воды несло сыростью, Михолап плотнее запахнул пальто и вдруг обнаружил, что стоит посреди двух фонарей, не зная, куда идти. В этой точке его тень раздвоилась, одна потянулась к реке, другая, через улицу, – к аптеке, и Михолап громко чихнул. Потом достал сигарету, чиркнул спичкой и, ладонью загоразивая огонь от ветра, прикурил.

Борис Барабаш из четвёртого подъезда мёртвой хваткой вцепился в чернильную ручку, проскакивая в мыслях нужные повороты, и не мог понять, что же такое смерть. Буквы плясали на неровностях, как телега на ухабах, а ветер трепал бумагу, которую он, прижав пальцами к граниту, то и дело разглаживал ладонью.

«Смерть, – думал Барабаш, – смерть, смерть...»

Он боялся умереть, не успев понять, что это такое.

У Михолапа были свои привычки: он держал грелку в постели, а тапочки – под кроватью, на завтрак съедал яйцо всмятку и будням предпочитал воскресенья. Когда у человека на мосту выпал клочок бумаги, оттого что он неловко карабкался на парапет, Михолап бросился вперёд, успев схватить его за волосы, на которых тот повис над ледяной рябью. Руки Михолапа слабели, но прежде, чем разжались, волосы треснули, и человек сорвался во тьму, оставив в кулаке Михолапа седую прядь.

Вокруг не было ни души, развернув записку, Михолап прочитал стихи, под ними адрес, показавшийся ему до странности знакомым, и поэтому не удивился, когда ноги привели его к двери, ключ от которой лежал у него в кармане. За ней его встретила женщина, как две капли похожая на его жену, и подросток – вылитый его сын. Он открыл, было, рот, чтобы рассказать им о случившемся, но не решился. Вместо этого он надел тапочки, положил в постель грелку и с открытым ртом уставился в телевизор.

Так Михаил Михолап стал Борисом Барабашем.

Жить на два дома никого не хватит, и постепенно Михолап прижился в новом месте. Он смотрел чужие сны, а когда получал письма, отвечал так, чтобы не заподозрили, будто Борис Барабаш умер. О своей прежней семье он вспоминал лишь изредка, когда вдруг замечал, что у жены исчезла с плеча родинка или видел в зеркале поседевшие виски. Были и другие отличия: его жена слышала, только когда говорила сама, а барабашевская говорила, только когда слушала. Но Михолап, как и раньше, предпочитал не связываться с жёнами, убеждённый, что зубы лучше пересчитывать языком, чем на ладони.

Каждый бездельничает по-своему, все работы похожи друг на друга. Михолап служил теперь в рекламном бюро, где продавал лотерейные билеты. «Ума палата – божье наказание!» – отпускал шутки начальник, про которого шептались, что он без выгоды даже не плюнет, и,

качаясь, как водоросль, Михолап согласно кивал. На затылке у него не хватало клока волос, и он уже не знал, кто из двоих живёт, а кто прыгнул с моста. Но постепенно плешь перебралась на макушку, слившись с залысинами, сделалась незаметной, и Михолап понял, что люди, как змеи, множество раз становятся другими, входя в одну воду и дважды, и трижды – каждый день.

Прежняя жизнь слезала, как ушибленный ноготь, а под ней всё больше проступала чужая судьба. И Михолап всё чаще видел перед собой бесконечный тупик. «Чтобы думать о смерти, – успокаивал он себя, – надо твёрдо стоять на ногах, чтобы размышлять о жизни, нужно быть при смерти». Борис Барабаш стирал себе сам, и Михолап, вынимая бельё из стиральной машины, пришивал оторванные «с мясом» пуговицы и развешивал на верёвке разнопарные носки.

Время металось по клетке, как попугай, бормоча расхожие истины. В новом воплощении действовали старые законы, Бориса Барабаша не замечали так же, как Михаила Михолапа. По утрам он варил себе кашу, а с женой вёл себя, как сапёр на минном поле. И всё равно нарывался. Слушая их тихое переругивание, сын упрекал в безденежье, тесной квартирке, мелких, как сыпь, ссорах. Как было объяснить, что виноват не быт, а бытие, как гренка бульоном, пропитанное злом. Каждый говорит с миром на «ры», пока не наденут смирительную рубашку. Михолапу вспоминались окрики матери, за столом бывшей его по немытым рукам длинной суповой ложкой, мучительное вычёсывание непослушных, с колтунами, волос и бесконечная, до стука в висках, зубрёжка стихов, которых не понимал. «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века, всё будет так, исхода нет...» Школа навязла в зубах, институт засел в печёнках. Впрочем, теперь кто-то забирал его воспоминания, как и он сам присваивал память Бориса Барабаша.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.